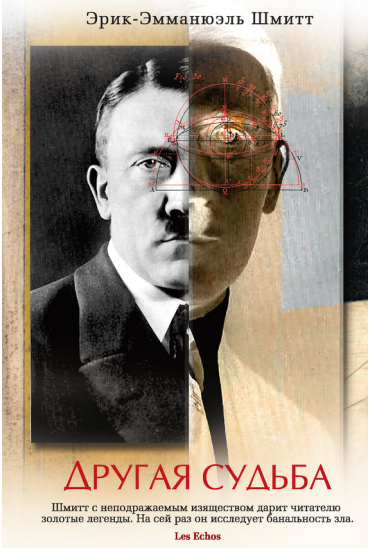




Эрик-Эмманюэль Шмитт
Другая судьба
Серия «Азбука-бестселлер»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9094426

Эрик-Эмманюэль Шмитт. Другая судьба: Азбука, Азбука-Аммикус; Санкт-Петербург; 2015

ISBN 978-5-389-09824-4

Оригинал: *Éric-Emmanuel Schmitt, "LA PART DE L'AUTRE"*

Перевод:

Нина Осиповна Хотинская

Аннотация

Эрик-Эмманюэль Шмитт – философ и исследователь человеческой души, писатель и кинорежиссер, один из самых успешных европейских драматургов, человек, который в своих книгах «Евангелие от Пилата», «Секта эгоистов», «Оскар и Розовая Дама», «Месье Ибрагим и цветы Корана», «Женщина в зеркале» задавал вопросы Богу и Понтию Пилату, Будде и Магомету, Фрейду и Моцарту. На этот раз он задает вопросы человеку.

Впервые на русском роман Э.-Э. Шмитта «Другая судьба».

«Неисповедимы дороги зла...» – писал поэт. «А вдруг... – подумал писатель, – стоит лишь найти некую точку, поворотный момент, после которого все сложилось именно так, а не иначе». И Э.-Э. Шмитт нашел эту точку. «Адольф Г.: принят», – произносит служитель Венской академии художеств 8 октября 1908 года. Девятнадцатилетний юноша, расплывшись в счастливой улыбке, устремляется к однокашникам. Начинается совсем другая судьба.

Содержание

Минута, изменившая ход истории...	5
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Другая судьба

Памяти Георга Эльзера, изготовителя самодельных бомб

Copyright © Editions Albin Michel S.A. – Paris 2001

© Н. Хотинская, перевод, 2015

© Издание на русском языке, ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

* * *

Решение принято: после Иисуса – Гитлер. За светом следует тьма. После искушения любовью в «Евангелии от Пилата» мне предстоит искушение злом. <...> После того, что притягивало меня, я опишу то, что меня отталкивает. Ошибка, которую совершают с Гитлером, происходит из того, что его принимают за человека исключительного, незаурядное чудовище, несравненного варвара. А между тем он человек банальный. Банальный, как зло. Банальный, как ты и я. Это мог бы быть ты, это мог бы быть я. И как знать, не окажемся ли мы завтра на его месте, ты или я?

Эрик-Эмманюэль Шмитт

«Другая судьба» – серьезный роман, значительный, тревожащий воображение. Это великолепный литературный механизм, который заставляет читателя задавать не всегда очевидные вопросы, которые исходят со стороны тьмы, лежащей внутри человека. Как и любое отражение зла, «Другая судьба» заслуживает и неотступно требует нашего внимания.

Брюно Корти

Le Figaro Littéraire

Минута, изменившая ход истории...

– Адольф Гитлер: не принят.

Вердикт обрушился, как стальная линейка на руку нерадивого ученика.

– Адольф Гитлер: не принят.

Железный занавес. Кончено. Номер не прошел. Ступайте. Вон.

Гитлер огляделся. Десятки юнцов – уши побагровели, челюсти стиснуты, подмышки взмокли от страха, – вытянувшись в струнку и приподнявшись на цыпочки, слушали слушателя, зачитывавшего их судьбу. Никто не обращал на него внимания. Никто не заметил, какую чудовищную вещь только что объявили, какая бездна разверзлась в холле Академии художеств, какая молния расколола мир: Адольф Гитлер не принят.

Всеобщее равнодушие едва не заставило Гитлера усомниться, что он хорошо расслышал. *Я страдаю. Ледяной меч пронзил мне грудь до самого нутра, я истекаю кровью, и никто не видит? Никто не заметил, какое горе меня сразило? Неужели я один на этой земле чувствую все так остро? Да в одном ли мире мы живем?*

Служитель закончил оглашать результаты. Сложил листок и улыбнулся в пустоту. Высокий, с желтоватым лицом, сухопарый, руки и ноги бесконечной длины – прямые, неуклюжие, живут отдельной от туловища жизнью, как у марионетки. Он сошел с возвышения и присоединился к коллегам: дело было сделано. Заурядная наружность и замашки палача. Убежден, что речет истину. Такой и мышки бы испугался, и нате вам – произнес недрогнувшим голосом: «Адольф Гитлер: не принят».

В прошлом году он уже произносил эту чудовищную фразу. Но в прошлом году все было не так трагично: Гитлер в первый раз не очень усердно готовился к экзаменам. А вот сегодня та же фраза стала смертным приговором: держать экзамены можно было не больше двух раз.

Гитлер не сводил глаз со служителя, который смеялся теперь с другими служащими Академии, длинными, тощими, лет тридцати, в серых блузах, – стариками, по мнению Гитлера, которому было всего девятнадцать. Для них – день как день, очередной день, рабочий день, который будет оплачен в конце месяца. Для Гитлера – последний день детства, последний день, когда он еще верил, что мечта и реальность могут совпасть.

Холл Академии медленно затихал, точно большой бронзовый колокол, рассыпающий звуки по всему городу. Чтобы насладиться счастьем поступления или пережить горечь провала, молодые люди отправились по венским кафе.

Только Гитлер так и стоял, неподвижный, пришибленный, бледный. Он вдруг увидел себя со стороны, как героя романа: круглый сирота – отца потерял много лет назад, мать умерла прошлой зимой, в кармане сотня крон, всего имущества – три рубашки да полное собрание сочинений Ницше в стареньком чемодане, впереди голодная зима, а теперь вот отказали в праве учиться ремеслу. Какие у него козыри? Никаких. Наружность неказистая: костлявый, с большими ногами и крошечными руками. Есть друг, которому он никогда не признается в провале, – уж слишком похвалялся, что поступит. Есть невеста, Стефания, он часто ей пишет, но она никогда не отвечает. Гитлер не заблуждается на свой счет, и ему себя жаль. А ведь это последнее дело – жалеть себя.

К заплаканному юноше подходят служители. Приглашают выпить с ними шоколада в привратницкой. Он вяло соглашается и идет, глотая слезы.

На улице весело светит солнце, в ярко-синем небе кружат птицы. Гитлер смотрит в окно на равнодушную природу и не понимает. *Так, значит, ни люди, ни природа? Никто не посочувствует моим страданиям?*

Гитлер выпивает шоколад, вежливо благодарит служителей и откланивается. Их участие его не утешило: оно было абстрактным, основанным на общечеловеческих ценностях, не адресованным ему лично, а значит, ненужным.

Он покидает Академию художеств, идет мелкими шажками, ссутулив плечи, чтобы затеряться в венской толпе. Этот город, прекрасный, лиричный, барочный, имперский, был сценой его надежд; теперь стал свидетелем его провала. Сможет ли он по-прежнему любить Вену? Будет ли еще любить себя?

Вот что произошло 8 октября 1908 года. Комиссия, составленная из живописцев, граверов, графиков и архитекторов, без колебаний решила судьбу молодого человека. Линии скверные. Композиция неуклюжая. Незнание техники. Недостаток воображения. Обсуждение заняло не больше минуты, все высказались однозначно: никакого будущего у этого Адольфа Гитлера нет.

А что было бы, если бы Академия художеств решила иначе? Что было бы, если бы за ту же самую минуту комиссия приняла Адольфа Гитлера? Эта минута изменила бы ход не только его жизни, но и ход Истории. Каким был бы двадцатый век без нацизма? Случилась бы Вторая мировая война, которая унесла жизни пятидесяти пяти миллионов человек, в том числе шести миллионов евреев, в мире, где жил бы Адольф Гитлер – художник?

* * *

– Адольф Г.: принят.

Горячая волна восторга захлестнула юношу. Счастье бурлило, стучало в висках, гудело в ушах, наполняло легкие и сбивало с ритма сердце. Это была долгая минута – наполненная, звенящая: мускулы напряжены, судорога экстаза, чистейшее наслаждение, – как первый случайный оргазм в тринадцать лет.

Волна отхлынула, и, придя в себя, Адольф Г. обнаружил, что он весь мокрый от кислого пота. Одежда стала липкой. Смены белья у него не было, но что с того – он принят!

Служитель сложил листок и подмигнул ему. Адольф в ответ просиял улыбкой. Даже обслуживающий персонал, не только профессора, рад приветствовать его в Академии!

Адольф Г. обернулся и увидел группу юношей, поздравлявших друг друга. Он без колебаний подошел и протянул им руку:

– Добрый день, я Адольф Г. Я тоже принят.

Они расступились, принимая его в свой круг. Шум нарастал. Объятия, улыбки, они представляются, называют имена, которые никто с первого раза не запоминает, но ничего – впереди целый год, чтобы лучше узнать друг друга...

Стояла осень, но этот день был свеж, как истинное начало, и солнце, казалось, смеялось в бездонно-синем небе.

Юноши говорили все одновременно, никто никого не слушал, каждый слышал лишь себя, но это было не важно, потому что все поступившие выражали одну и ту же радость.

Один из них все же сумел перекрыть гомон, проорав что было мочи, что надо пойти отметить это у Кантера.

– Вперед!

Адольф вышел на улицу вместе со всеми. Он не сам по себе. Он – член группы.

Уже в дверях он оглянулся и заметил застывшего на месте парня; тот беззвучно плакал горячими слезами – один в огромном холле.

Жалость кольнула Адольфа Г., он успел подумать: «Бедняга», но тут его вновь затопило блаженство, второй сокрушительной волной, еще мощнее прежней, ибо теперь наслаждение стало более полным, более плотным, двойным: он был счастлив, что прошел, и счастлив,

что не провалился. Так Адольф Г. узнал, что собственное счастье укрепляется чужим несчастьем.

Он догнал своих спутников. Сознавали ли венцы в этот день, что им навстречу идет группа юных гениев? Терпение, говорил себе Адольф, *настанет день, и они узнают.*

Радостные крики взмывали под потолок таверны Кантера, и пиво рекой лилось в кружки. Адольф Г. пил, как не пил никогда прежде. В этот вечер он чувствовал себя мужчиной. Он и его новые друзья рассказывали друг другу, какими великими артистами они будут, как прославят – а разве может быть иначе? – свой век, и даже начали ехидничать насчет старых мастеров. Это был исторический вечер. Адольф Г. пил все больше, он пил, как пишут музыку, чтобы звучать в унисон с остальными, раствориться в них.

Впервые за всю свою жизнь он самоутверждался не против других, но вместе с ними. Он много лет знал, что он художник, никогда в этом не сомневался и после прошлогоднего провала ждал, что жизнь подтвердит его правоту. Вот! Теперь все сошлось! Он занял свое место в этом мире, сбылась его мечта! Жизнь справедлива и прекрасна. С этого вечера он может позволить себе иметь друзей.

И он снова пил.

Договорившись о переустройстве мира, они стали рассказывать, кто откуда и чем занимаются их семьи. Когда наступил черед Адольфа, ему вдруг приспичило, и он ринулся в туалет.

Он чувствовал себя неуязвимым, орошая фаянс писсуара могучей струей.

В мутном зеленоватом зеркале он рассмотрел свое новое лицо – лицо студента Академии художеств: ему почудился незнакомый блеск в глазах, какого не было раньше. Он остался доволен увиденным, даже попозировал слегка, глядя на себя глазами потомков: Адольф Г., великий художник...

Внезапная боль свела челюсть, на губах выступила пена, и Адольф рухнул на умывальник. Плечи скрутило, рыдания исказили лицо: он вспомнил о матери.

Мама... Как бы она радовалась сегодня вечером! Как гордилась бы им! Она прижала бы его к своей больной груди.

Мама, меня приняли в Академию.

Он ясно представлял себе счастье матери, и вся сила материнской любви наполняла его сиротскую душу.

Мама, меня приняли в Академию.

Он тихонько повторял это как заклинание, ожидая, когда утихнет гроза.

Потом он вернулся к своим друзьям.

– Адольф, где ты был? Проблевался?

Они ждали его! Они называли его Адольфом! Они беспокоились! Он так растрогался, что сразу взял слово:

– Я думаю, сегодня нельзя писать, как двадцать лет назад. Открытие фотографии заставляет нас сосредоточиться на цвете. По-моему, цвет не должен быть естественным!

– Что? Ничего подобного. Мейер считает...

И спор продолжился, то замирая, то вспыхивая, как добрый огонь в камине. Адольф с пеной у рта отстаивал идеи, которых еще пять минут назад у него и в помине не было, развивал новые теории, сразу ставшие для него единственно верными.

В редкие моменты молчания Адольф Г. не слушал своих товарищей, а с упоением думал о письмах, которые напишет завтра: своей невесте Стефании, – у нее больше нет причин задирать нос; тете Иоганне, никогда не верившей в его талант художника; своему опекуну Мейрхоферу, посмевавшему посоветовать ему «поискать настоящую профессию»; сестре Пауле – он не питал теплых чувств к дерзкой некрасивой девчонке, но она должна осознать, какой великий человек ее брат; еще письмо учителю Рауберу, этому олуху, ставившему ему

плохие оценки по рисованию, учителю Кронцу, который в лицее позволил себе критиковать его сочетания цветов, и, конечно, учителю начальной школы из Линца – тот унизил его в восемь лет, показав всему классу его чудесный красный клевер с пятью листочками... Он радостно целился каждым письмом, как из винтовки, эти послания станут оружием и ранят всех, кто не сумел в него поверить. Жизнь – яростное наслаждение. Сегодня вечером ему хорошо, а завтра, когда он причинит боль окружающим, станет еще лучше... Жить – значит немножко убивать.

Так 8 октября 1908 года в пьяном гомоне таверны Кантера, еще не создав ни единого мало-мальски значимого произведения и лишь завоевав право учиться живописи, юный Адольф Г. переступил порог, за которым начинается артист: он окончательно и бесповоротно счел себя центром мироздания.

* * *

– Добрый вечер, герр Гитлер. Ну что? Поступили?

Квартирная хозяйка фрау Закрейс, старая, похожая на ведьму чешка, оторвалась от швейной машинки и выскочила в коридор, едва услышав, как поворачивается ключ в замке. На его счастье, свет в прихожей был тусклый, и Гитлер надеялся, что дородная дама не разглядит его лица своими маленькими желтыми глазками.

– Нет, фрау Закрейс. Результаты еще не объявили, один из экзаменаторов заболел и не успел выставить оценки.

Фрау Закрейс понимающе кашлянула. Гитлер знал, что, заговорив с ней о болезни, можно сразу возбудить в ней опасения и сочувствие.

– А что с ним, с этим профессором?

– Грипп. Говорят, в Вене эпидемия.

Фрау Закрейс инстинктивно попятилась к кухне, как будто жилец уже притащил в ее дом опасных микробов.

Гитлер попал в точку. Фрау Закрейс несколько лет назад потеряла мужа – он скончался от недолеченной инфлюэнцы – и теперь закроется у себя и даже не предложит ему выпить чая. Она наверняка будет избегать его еще несколько дней. Отлично! Не придется лгать, ломать комедию, притворяться, будто ждешь результатов.

Вешая пальто, он слышал, как она зажигает газовую горелку, чтобы приготовить себе отвар чабреца; потом, почувствовав неловкость за свое поспешное бегство, хозяйка высунула голову в коридор и вежливо спросила:

– Вы, должно быть, разочарованы?

Гитлер вздрогнул:

– Чем?

– Что придется еще ждать... ваших результатов...

– Да. Это досадно.

Фрау Закрейс смотрела на него, выражая лицом готовность выслушать и посочувствовать, но Адольф молчал, и она сочла, что может вернуться к плите.

Он по-турецки сел на кровать и закурил, целиком отдавшись этому процессу. Глубоко затягивался, наполнял дымом легкие и выдыхал густые клубы. Его пьянило ощущение, что он согревает комнату эманациями собственной плоти.

На стенах его рисунки, афиши опер – Вагнер, Вагнер, Вагнер, Вебер, Вагнер, Вагнер, – эскизы декораций к лирико-мифологической драме, которую он хотел написать со своим другом Кубичеком, на столе – книги Кубичека, партитуры Кубичека.

Надо будет написать Кубичеку в казарму – он сейчас на военной службе. Написать... Сказать ему...

Гитлер чувствовал, что не справится. Он убедил Кубичека покинуть Линц ради Вены, уверял, что тот должен быть музыкантом, и даже записал его в Академию музыки (Кубичек прошел с первого раза, блестяще сдав сольфеджио, композицию и фортепьяно); из них двоих он всегда был лидером и противостоял отчаянному сопротивлению обеих семей, а теперь придется признаться, что сам все провалил.

Фрау Закрейс поскреблась в дверь.

– Чего вам? – злобно вскинулся Гитлер, недовольный вторжением в его личное пространство.

– Не забудьте заплатить мне за комнату.

– Да. В понедельник.

– Хорошо. Но не позже.

Она удалилась, шаркая ногами.

Гитлер запаниковал. Сможет ли он теперь платить за это жилье? Поступи он в Академию художеств, имел бы право на стипендию – как студент-сирота. Но без этого...

У меня есть наследство отца! Восемьсот девятнадцать крон!

Да, но он сможет распоряжаться им, только став совершеннолетним, через пять лет. А пока...

Сердце отчаянно заколотилось.

Гитлер хмуро оглядел комнату. Даже здесь он не сможет остаться. Будь он студентом, довольствовался бы малым. Но он не поступил – и он бедняк.

Хлопнув тремя дверьми, он оказался на улице. Бежал из дому. Ему хотелось пройтись. Подумать, поискать выход. Сохранить лицо! Главное – сохранить лицо. Ничего не говорить Кубичеку. И раздобыть денег. Чтобы хоть с виду все было нормально.

Он шел по тротуарам Мариахильфа широкими шагами глухого. Этот квартал был одним из самых бедных в Вене, построили его недавно, и он должен был бы выглядеть новым, но дома просто кишели жильцами и быстро теряли товарный вид. Тяжелый запах жареных каштанов плыл от фасадов.

Что делать?

Лотерея!

Гитлер ликует. Ну конечно! Вот и выход! Вот почему день прошел так скверно! Все имеет смысл. Судьба не допустила его в Академию лишь потому, что уготовила ему куда лучший сюрприз: он станет миллионером. Этот день – лишь испытание, опасный отрезок пути, который неминуемо выведет к свету: лотерейный билет! Он проиграл, чтобы выиграть много больше.

Это очевидно! Как он мог сомневаться? *Первый же билет у первого же попавшегося продавца!..* Вот что говорил ему внутренний голос. *Первый же билет у первого же попавшегося продавца!*

Как раз за жаровней, в которой на пламенеющих углях чернели каштаны, калека предлагал проходим билет.

Гитлер смотрел на раздутого от водянки старика как на видение или, вернее, как на знак свыше. Вот оно, богатство, перед ним, сидит на складном полотняном стуле, ноги в сточной канаве, в обличье беззубого бродяги с отечными руками и ногами. Как в сказках, которые читала ему в детстве мать.

Гитлер нервно пошарил в кармане. Есть ли у него мелочь? Чудом набралась нужная сумма. Он увидел в этом еще один знак.

С бешено колотящимся сердцем он подошел к груди водянистой плоти и попросил:

– Один билет, пожалуйста.

– Который, мой господин? – спросил монстр, пытаясь сосредоточить остекленевший взгляд на молодом человеке.

– Первый, какой попадется под руку.

Гитлер завороченно смотрел, как тюлень в человеческом обличье касается билетов, на секунду задумывается и вдруг резким движением выдергивает один.

– Держите, мой господин. И могу вам сказать, вы везучий.

– Я знаю, – выдохнул Гитлер, отчаянно краснея.

Он схватил билет, прижал его к сердцу и побежал со всех ног.

Теперь он спасен. Его будущее в его руках. И он был убежден, что это покойная мать послала ему с небес спасительное наитие.

– Спасибо, мама, – прошептал сын на бегу, подняв глаза к звездам, которых не было видно за темными крышами.

* * *

Первый заказ...

Адольф Г., всклокоченный, в мятой пижаме, с опухшими от пива глазами, почесывал левую ногу и смотрел на невероятную пару, загородившую дверь в коридор: низенькая массивная фрау Закрейс и монументальный Непомук, знаменитый мясник с улицы Барбаросса. Они неловко переминались с ноги на ногу – такие смущенные просители, ни дать ни взять приехавшие в гости дальние родственники.

– Непомук всегда мечтал о вывеске ручной работы, – проскрипела квартирная хозяйка.

– Да, чтобы яркая вывеска, с моим именем, в красках, – подтвердил Непомук.

Первый заказ... Это действительно был первый заказ... Уже появился спрос на талант художника Адольфа Г. От изумления юноша лишился дара речи, и Непомук решил, что предложение его не заинтересовало.

– Разумеется, я заплачу, – произнес он менее уверенно.

– Конечно! – горячо поддержала фрау Закрейс.

– Ты молод, мой мальчик, ты только что поступил в Академию художеств, и я не стану платить тебе, как выпускнику.

Адольф возликовал, подумав, что через несколько лет и впрямь будет стоять дороже. Ему впервые пришла в голову мысль, что из старости тоже можно извлечь выгоду.

– Так вот, ты молод. Можно даже сказать, что я в известной степени рискую, нанимая тебя.

– Предлагаю сделку, – перебил его Адольф. – Договоримся о цене сейчас. Заплатите, если вывеска вам понравится, нет – значит, нет.

Глазки мясника сощурились. Артист заговорил языком, который был ему понятен.

– Так-то лучше, мой мальчик. Выдвину встречное предложение: я заплачу деньгами либо товаром. Десять крон или по две сосиски в день в течение года, что составит больше десяти крон...

– Какая щедрость, Непомук! – восхитилась квартирная хозяйка.

– Фрау Закрейс, естественно, получит небольшие комиссионные за то, что свела нас.

Женщина довольно хихикнула и произнесла что-то по-чешски, чего никто не понял. Адольфу стало ясно: у вдовушки виды на силача-мясника.

Студента слегка раздражал этот торг, казавшийся ему недостойным его таланта. Ближился полдень. От голода засосало в желудке. Он с воодушевлением подумал о завтраке.

– Сосиски на год?

– Сосиски на год! По рукам, мой мальчик!

Тонкая рука артиста утонула в лапище мясника.

В три часа он отправился на улицу Барбаросса за своим первым заказом. Непомук встретил его радостными возгласами и мощными хлопками по спине, как будто привечал пожаловавшего в гости зятя.

– Идем, я все приготовил.

Он потащил его в комнату за лавкой, бурое помещение, пахнувшее писсуаром.

– Вот! – сказал он, театрально раскинув руки, гордый, как фокусник, завершивший трюк и подающий знак к аплодисментам.

Зрелище было чудовищное. Непомук действительно все приготовил: на треноге стояла чистая доска – будущая вывеска, а на столе у стены лежало все, чем была богата его лавка: пороссячи головы, говяжьи языки, свиные ножки, овечьи мозги, печень, сердца, легкие, почки, сосиски, колбасы, салями и мортаделла, окорока, требуха, телячьи уши. Продукция, составлявшая гордость и славу заведения Непомука.

Адольф подавил приступ тошноты:

– Я должен нарисовать все это?

– А что? Не сумеешь?

– Сумею. Но я задумал мифологическую сцену, например из оперы Вагнера, где...

– Забудь, малыш! Я хочу, чтобы ты нарисовал все, что я предлагаю моим покупателям. И ничего другого. Нет! Сверху пусть будет мое имя. Его рисуй как хочешь. За это я тебе плачу.

«Микеланджело тоже страдал, когда ему делал заказ этот увалень папа Юлий Второй! – подумал Адольф. – Неужели в любую эпоху удел гения на земле – унижение?» Он сглотнул слюну и кивнул.

– Сколько вы мне дадите времени?

– Да сколько нужно, столько и есть, но предупреждаю: дня через три мясо заветрится, и цвета изменятся.

Великан Непомук расхохотался и, хлопнув Адольфа по спине, ушел в лавку, где его ждали покупатели, гомоня, как цыплята в загоне.

Оставшись наедине со своими карандашами и кистями, Адольф вдруг запаниковал. Он не знал, с чего начать. Написать сначала фон, а потом предметы? Или наоборот? Углем? Карандашом? Гуашью? Маслом? Он не знал ровным счетом ничего.

Полно! Он не самозванец, его приняли в Академию художеств. Шестьдесят девять человек провалились. А он поступил! Значит, должен все знать.

Адольф принялся перекладывать куски мяса на столе. Постарался расположить их как можно гармоничнее. И наконец принялся за работу: он признанный художник и всем это докажет.

Три дня и три ночи он покидал заднюю комнату лавки Непомука всего на пару часов, чтобы отдохнуть. Все его мысли были заняты только кусками плоти – как изобразить их на доске, как смешать краски, передать белым на розовом жир ветчины, красным мазком на черном фоне сердцевину филея, бежевыми брызгами на сером – смачность паштета, жесткой кистью с редкими волосками – зернистую мякоть салями. Как это случалось всегда в моменты экзальтации, он ничего не ел и держался только на куреве.

Время от времени мясник заходил взглянуть, как продвигается дело. Поначалу он был настроен критически, скептически, потом стал уважительно молчалив.

Запахи разлагающейся плоти смешались с аммиачным духом – в тесной кладовке мясо портилось быстрее. Эскалопы и филе, писать которые было труднее всего, завоняли серьезно. Запах, тяжелый, грузный, неподвижный, застоявшийся запах агонии окутал комнату, как сумрачный лак старого мастера – поверхность холста. Адольф не обращал внимания на усталость, тошноту, отвращение, работал лихорадочно, с одной лишь целью – закончить.

Картины Кранаха и Брейгеля, изображающие ад гигантским противнем, казались ему теперь райским видением потустороннего мира: истинным адом были работа в четырех стенах лавки мясника и зловонная падаль, которую надо запечатлеть на доске.

К утру пятого дня он все еще не закончил. У него оставалось несколько ночных часов, завтра нужно будет отправляться в Академию: учебный год начался.

Он работал как одержимый. Болели пальцы, кисти стерли до мяса нежную кожу. Глаза закрывались сами собой. Плевать! Он закончит.

К полуночи композиция была готова. Осталось нарисовать только буквы.

В шесть часов Непомук пришел принять работу.

Вытаращив глаза, раскрыв рот, он несколько долгих минут ошеломленно созерцал свою вывеску.

Адольф взглянул на него и обнаружил, что Непомук похож на большую сосиску, высокую и толстую сосиску без шеи, с маленькой головкой, одетую сосиску с торчащими из-под ворота волосками.

– Какая красота!

Слезы радости и умиления потекли по щекам мясника.

Смотри-ка, сосиска плачет, машинально подумал Адольф.

«Сосиска» раскрыла объятия и прижала художника к груди.

Непомук настоял, чтобы они вместе позавтракали. Адольф решил, что подкрепиться не помешает, ведь через два часа начнется первое занятие.

Он съел, ни разу не икнув, все, что поджарил на сковородках Непомук, но, когда попытался влить в себя глоток кофе, почувствовал, что задыхается.

Он за минуту добежал до самого дальнего угла сада, где его вырвало всей лавкой Непомука.

Никогда! Больше никогда! Решено. С этого дня он никогда больше не будет есть мяса. Он станет вегетарианцем. Навсегда!

Адольф помчался к фрау Закрейс, поспешно ополоснулся над раковиной, переоделся, но мерзкий запах падали по-прежнему преследовал его.

Он побежал в Академию.

На встречу с друзьями оставалась всего минута, уже прозвонил колокол, надо было подниматься в пятую аудиторию, мастерскую со стеклянным потолком.

В зале было жарко натоплено. Печка у покрытого подушками возвышения распространяла одуряющее тепло.

Ученики заняли места за мольбертами. Преподаватель раздал всем уголь.

Вошла женщина в кимоно, поднялась на подиум, развязала пояс и... скинула шелк на пол.

Адольф Г. не верил своим глазам. Он никогда не видел голой женщины. Ему было жарко, очень жарко. Она была красивая, гладкая, ни волоска на золотистом теле.

Как сосиска.

Эта мысль стала последней – Адольф рухнул на пол в глубоком обмороке.

* * *

Через несколько минут он будет богат.

Неделя пронеслась быстро, он и глазом моргнуть не успел. Конечно, пришлось ждать, но уверенность помогла ему прожить эти долгие пустые дни.

Сжимая в руке горячий и влажный билет, Гитлер ждет объявления результатов лотереи.

«Тому, в чьем сердце живет вера, дарована величайшая в мире сила». Эти слова, которые шептали губы обожаемой матери, послужили ему опорой, духовной пищей, равно как

и пищей телесной: он постился и преодолел испытание провалом, он снова верит в себя и в свою судьбу.

Лотерейщик выходит на улицу и открывает прозрачную коробку: вот он, результат.

Сердце Гитлера ёкает. Он подходит ближе.

Он не понимает.

Где ошибка? На его билете? На афишке, которую держит лотерейщик? Ведь это ошибка, Гитлер точно знает: между ним, Небесами и его матерью был заключен священный пакт, гарантия выигрыша. Это компенсация за провал на экзамене в Академию художеств. Это же так ясно.

Но ошибка никуда не делась.

Гитлер двадцать раз прочел числа, сличая каждую циферку слева направо и наоборот. Все зря. Разница есть. Явная. Неубиваемая...

Гитлер становится тяжелым, свинцовым, холодным, бессильным.

Действительность взяла верх. Чары рассеялись.

Мир не сдержал ни одного из данных обещаний. Гитлер один на свете.

* * *

Все товарищи были очень впечатлены рассказом Адольфа Г. Получить первый заказ в девятнадцать лет! И вдобавок заказ на изображение Рождества в частной часовне! У графа! Такого знаменитого графа, что Адольф даже отказался назвать его имя! История быстро облетела весь первый курс. Так же быстро, как и рассказ о его обмороке.

Он боялся следующего урока обнаженной натуры. Если ему снова станет дурно перед бесстыжей женщиной, все окончательно уверятся, что он – жалкий девственник-пуританин.

В свободные часы он запирался в своей комнате и перерисовывал обнаженных женщин из антологии гравюры. Так он приручал свое смятение. Рисуя бедро, изгиб груди, он ощущал наплыв эмоций, натягивавших ткань его брюк, порой даже доходил до экстаза, но в обморок не падал. Достаточно ли этого? Под защитой своего одиночества, стен своей комнаты и того факта, что его карандаш лишь воспроизводит линии, он худо-бедно владел собой. Но кто поручится, что, увидев трепещущую женскую плоть, опасно близкую, зримую и нагую, он не отключится снова?

Настал час рокового урока.

Студенты набились в жарко натопленную мастерскую. Адольф вошел последним и добирался до своего мольберта только что не на ощупь.

Модель поднялась на возвышение.

По залу пронесся разочарованный шепоток.

Это был мужчина.

Походка развязная, подбородок выпячен, лицо замкнутое, глаза почти закрыты, – решительно безразличный к разочарованию сорока разгоряченных юнцов, он снял брюки, небрежно поиграл мускулами и принял атлетическую позу.

Облегчение Адольфа было превыше всех надежд. Он с улыбкой смотрел на своих товарищей, но те были слишком раздосадованы и не обращали на него внимания.

Адольф взял уголь и начал рисовать.

Он услышал смутный шум в левом углу. Несколько учеников возмущенно переговаривались свистящим шепотом.

Убедившись, что речь идет не о нем, Адольф Г. сосредоточился на рисунке.

Четверо юношей отшвырнули карандаши, подхватили свои вещи и, нарочито громко топая, направились к двери. Уже на пороге один из них бросил преподавателю:

– Это недопустимо! Абсолютно недопустимо!

Тот отвернулся, как будто не услышал, а студенты удалились, хлопнув дверью. Адольф Г. наклонился к своему соседу Рудольфу:

– Что это с ними?

– Они отказываются рисовать эту модель.

– Почему? Из-за того, что он мужчина?

Рудольф поморщился, давая понять, что осуждает поведение однокурсников.

– Нет. Из-за того, что он еврей.

Адольф опешил:

– Еврей? Но откуда они знают?

* * *

Он бродит по улицам Вены. Пустой, без всяких желаний, не сводя глаз со своих ботинок, он ничего не видит, ничего не слышит и почти не ест. Если чувствует, что слабеет, сгрызает на ходу несколько жареных каштанов, иногда запивает их пивом. Затемно возвращается к фрау Закрейс. Даже если открывает дверь бесшумно и идет по коридору в одних носках, она все равно набрасывается на него, требуя квартплату. Он отделяется обещаниями, бормочет жалкие слова, пятась к своей комнате. Но фрау Закрейс ему не верит и грозит позвать кузенов – они силачи, работают на рынке и разберутся с ним.

Конечно, он мог бы написать слезное письмо тете Иоганне и получить немного денег. Но это не выход из тупика. Даже если он заплатит за лишний месяц, два, три, полгода, что будет дальше?

Больнее всего то, что он больше не знает, что думать о себе. До сих пор он никогда в себе не сомневался. Стычки, сцены – это было. Оскорбления, едкие замечания – все было. Но ничто не могло поколебать его веру в себя. Он считал себя единственным, исключительным, незаурядным, богаче любого другого будущим и славой и жалел тех, кто этого еще не понял. При отце, мелком служащем, туповатом и злобном резонере, а после его смерти – при скользком опекуне Гитлер смотрел на себя глазами своей матери – глазами, полными обожания и чудесной мечты. Он любил себя, он видел себя чистым, идеальным, исключительным, озаренным ослепительным светом своей счастливой звезды. Одним словом, высшим существом.

Но мать умерла прошлой зимой, и после экзаменов в Академию и результатов лотереи взгляд его померк.

Теперь Гитлера снедали сомнения. Что, если он попусту убеждал себя, будто он художник, может, нужно было просто вкалывать? А он в последние месяцы почти не работал... Что, если он попусту тратил силы, считая себя высшим существом, вместо того чтобы доказать это на деле?

Эти размышления изматывали его.

Есть люди, чей ум сомнения обостряют, Гитлер же чувствовал себя отупевшим. Энтузиазм и страсть испарились, он не мог собрать воедино и трех мыслей. Рассудок его функционировал лишь в состоянии экзальтации. Получив оплеуху от жизни, лишенный мечты и амбиций, его мозг уподобился мозгу устрицы.

Путру фрау Закрейс, ворвалась в комнату Гитлера, нарушив молчаливое соглашение, запрещавшее ей доступ на его территорию. Ее пышная грудь колыхалась в вырезе малиновой ночной сорочки, смущая его воображение.

– Если я не получу денег через два дня, герр Гитлер, то выставлю вас вон. Хватит с меня обещаний, мне нужна квартплата.

Она вышла, хлопнув дверью, и яростно загромыкала кастрюлями на кухне, вымещая на них свою злость.

Это вторжение стало спасительным для Гитлера. Вместо того чтобы вновь углубиться в размышления о себе, он сосредоточился на конкретной проблеме: как заплатить фрау Закрейс?

Он вышел на улицу, имея четкую цель: найти работу.

Вена замерла в ноябрьской слякоти. Серый, цепкий холод сковал атмосферу, точно цемент. Деревья облетели, редкие изгороди посветлели, а стволы и ветви потемнели. Некогда зеленые и цветущие проспекты стали кладбищенскими аллеями, голые ветки тянули свои сухие пальцы к шиферному небу, а камни выглядели могильными плитами.

Гитлер внимательно читал таблички на магазинах: требовались продавцы, кассиры, доставщики. При мысли о том, что придется общаться с людьми, быть любезным, у него заранее опускались руки.

Не хотел он и участи клерка, хоть она и была поспокойнее: это значило бы согласиться на то, в чем он всегда отказывал своему отцу. Никогда! И вообще, он не собирался менять профессию или делать карьеру, только добыть немного денег, чтобы заплатить фрау Закрейс.

Он увидел стройку, зияющую дыру среди фасадов, словно выбитый зуб в челюсти города.

Темноволосый мужчина, балансируя на доске и весело распевая, укладывал кирпичи. Красивый голос, теплый, глубокий, средиземноморский, рассыпал нотки итальянской беззаботности между стен. Другие рабочие – чехи, словаки, поляки, сербы, румыны и русины – перебрасывали друг другу доски, кирпичи, мешки и гвозди, переговариваясь на ломаном немецком.

Привлеченный голосом каменщика, Гитлер подошел ближе:

– Не найдется ли для меня работы на стройке?

Итальянец перестал петь и широко улыбнулся:

– Что ты умеешь делать?

Гитлеру показалось, что улыбка итальянца согрела ледяной воздух.

– Лучше всего я рисую.

На лице итальянца отразилось легкое разочарование, и Гитлер поспешил добавить:

– Но могу делать что угодно. Мне надо зарабатывать на жизнь, – признался он, опустив голову.

Рабочие расхохотались. Нетрудно было догадаться, что этот заморыш с восковым лицом давненько не ел досыта.

Теплая рука взяла его за плечо и прижала к живому торсу: это Гвидо обнял его.

– Идем, дружище, найдем для тебя что-нибудь.

Гитлер приник головой к груди итальянца. К его немалому удивлению, пахло от того хорошо – лавандовой свежестью, напомнившей ему шкафы матери. Он не противился, когда его за руку, с дружеским похлопыванием по спине, повели к бригадиру.

Гитлер не выносил чужих прикосновений, но итальянцу позволил все. Это не имело значения, ведь он был иностранцем. И потом – вот удача-то! – на этой стройке его будут окружать одни лишь иностранцы: никто из венцев его не увидит, к тому же сама национальная принадлежность ставит его выше всех этих людей. Итак, его наняли замешивать раствор для Гвидо.

Разумеется, он не сказал фрау Закрейс о своей новой работе, просто заплатил ей, поставившись устыдить за утреннее поведение. Вдова-чешка пробормотала невнятные извинения, полностью согреться холодным прикосновением монет.

Гитлеру отнюдь не претила работа на стройке. Наоборот, ему казалось, что это не он, а кто-то другой смешивает цемент с водой, он чувствовал себя почти на каникулах, словно освободившись от себя самого.

Он сам толком не понимал, почему привязался к Гвидо. Неизменная жизнерадостность итальянца, его обезоруживающая улыбка, смешливые морщинки у глаз, волосатая грудь, которую он без всякого стеснения демонстрировал окружающим, игравшая в нем мужская сила, которой наполнились каждый его жест, его голос, его звонкий и звучный итальянский язык, руки и ноги, способные на любое усилие, – все это словно заливало Гитлера солнцем среди зимы. Он отогревался подле Гвидо; напивался его силой, его жизнерадостностью; иногда он даже улыбался.

Гвидо тоже полюбил «маленького австрийца», как, впрочем, любил всех. Гитлер высоко ценил эту обезличенную привязанность, это добродушие, ни к чему особо не обязывающее. Хорошо было дышать одним воздухом с Гвидо.

Иногда после работы они шли выпить по кружке пива. Гитлер помогал Гвидо учить немецкий. Ему нравилась эта перемена ролей: вечером – не то что днем, вечером Гвидо ему повиновался. Ему нравилось, когда губы итальянца повторяли продиктованные им слова, нравилось, что итальянец подражал ему, нравились взрывы его смеха после каждой ошибки, нравился и досадливый вздох Гвидо в конце каждого сеанса – на своем приблизительном немецком, искаженном красками и пряностями его родной Венеции, он весело щебетал, что никогда не освоит язык Гёте. Гитлер же наслаждался абсолютным и признанным превосходством и был так благодарен за это Гвидо, что находил слова ободрения, помогавшие тому продержаться до следующего урока.

Расставаясь, Гвидо всегда спрашивал у Гитлера, где он живет. Гитлер уходил от ответа, он не хотел, чтобы итальянец с его пролетарской простотой вторгся в комнату, где он еще мог считать себя артистом. Когда же Гвидо предложил ему навестить вместе к проституткам, Гитлеру пришлось соврать, что он уже женат и каждый вечер спешит к своей половине.

Гвидо тогда метнул быстрый взгляд на его маленькие руки без обручального кольца, но ложь проглотил, заговорщически подмигнул и шепнул:

– Это ничего. Если тебе как-нибудь захочется, я возьму тебя с собой. Уверен, ты даже не знаешь, где это.

Гитлер поморщился. Он был против проституции и не желал встречаться с продажными женщинами, но Гвидо угадал: он действительно не знал, где находится квартал красных фонарей. Он почувствовал, что его поймали на недостатке мужского начала.

Наступила зима. Ничто не могло поколебать силу Гвидо. С Гитлером они теперь почти не расставались.

Однажды в пятницу Гитлер расхрабрился и сказал Гвидо важную вещь: «У тебя дивный голос, настоящий вердиевский баритон, с таким не на стройке работать, а в опере петь».

– Ба, в моей семье у всех такие голоса, – пожал плечами Гвидо, – и все мы каменщики, из поколения в поколение.

– Но я часто бывал в опере и уверяю тебя, что...

– Брось! Не нам, грешным, становиться артистами. Надо иметь дар. С этим надо родиться.

Так, не начавшись, закончился разговор, который Гитлер хотел завести. Сделав комплимент Гвидо, он намеревался упомянуть и о своих талантах художника, дать ему понять, что они оба не похожи на других, но Гвидо оборвал его своим непрекесаемым: «Не нам, грешным, становиться артистами».

Каждый вечер Гвидо уводил его все ближе к кварталу проституток. Он говорил с широкой улыбкой:

– Если ты женат, это не значит, что не можешь позволить себе маленькие радости.

Гитлер поначалу давал решительный отпор уговорам товарища, но мало-помалу сдавался и наконец переступил порог борделя.

В прокуренном зале, среди девиц с умильными улыбками, ласкающими жестами, виляющими бедрами, глубоченными декольте и слишком легко раздвигающимися ногами, Гитлеру сразу стало не по себе.

Гвидо объяснил девицам, что надо оставить его друга в покое, что тот пришел просто за компанию и сам ничего не хочет.

Это слегка усмирило девиц, но смущение Гитлера не прошло: куда тут смотреть, чтобы не замараться? Куда девать глаза, чтобы не стать сообщником этой гнусности? Как дышать, чтобы не вдыхать стыд?

А Гвидо между тем усадил к себе на колени трех женщин, которые, хихикая, оспаривали друг у друга право подняться с ним наверх.

Гитлер не узнавал своего друга. В Гвидо он полюбил Италию – Италию роскошную и простую, живую и упадническую, присутствующую и отсутствующую, где в голосе рабочего всегда звучало золото оперы. Но в этот вечер он разлюбил Гвидо, разлюбил Италию и видел лишь вульгарность, густую, плотскую, вонючую, неприкрытую. Сам же он, напротив, чувствовал себя чистюлей, пуританином, германцем.

Борясь с внутренним разочарованием и стараясь приободриться, он взял карандаш и на бумажной скатерти изобразил Гвидо таким, каким его видел: Сатану, воняющего сексом.

Он рисовал яростно, закругляя завиток, очерчивая рот, заштриховывая глаз, выделяя тенями выступы веницианского лица, выплевывая на бумагу всю свою ненависть к этой тривиальной красоте.

Вдруг до него дошло, что все вокруг изменилось. Все замолчали и подошли ближе. Глаза устремились на молодого человека, набрасывающего, будто в трансе, портрет итальянца.

Гитлер вздрогнул и вскинул на них глаза, краснея, злясь, что дал себе волю и выразил то, что думал. Он подставился. Сейчас ему попадет за его презрение.

– Это великолепно! – воскликнула одна из девиц.

– Еще красивее, чем оригинал, – подхватила другая.

– Невероятно, Адольфо! Ты настоящий художник.

Гвидо взирал на своего товарища с восхищением. Он бы, наверно, удивился не так сильно, узнав, что Гитлер – миллиардер.

Он убежденно покивал и повторил:

– Ты настоящий художник, Адольфо, настоящий художник!

Гитлер вскочил. Все посмотрели на него с опаской. Ему было хорошо.

– Конечно я настоящий художник!

Он оторвал кусок скатерти с наброском и протянул его Гвидо:

– Держи! Дарю.

Потом повернулся и вышел. Он знал, что больше никогда не увидит Гвидо.

* * *

Он снова потерял сознание.

А ведь сначала, когда шелк пеньюара соскользнул на пол, словно бросая ему вызов, он дышал почти ровно. Женщина грациозно удержала узел волос, который, казалось, хотел последовать за пеньюаром, и, лукаво улыбаясь, оттопырив локоть, полудержко-полупугливо повернулась к присутствующим голой спиной и ягодицами.

Адольф Г. вывел первые штрихи осторожно, боязливо, как входят в холодную воду. Он ждал дурноты. Рисовал, едва касаясь углем картона, уверенный, что, нажав сильнее, отключится. Но ничего ужасного не происходило. Сколько он ни прислушивался к себе, дурноты не было. Он успокоился, рука стала тверже.

Жирными, уверенными штрихами он набросал тело, округлил ягодицы, вывел изгиб бедер. Потом увлекся изображением волос. Через десять минут ему удалось запечатлеть на картоне нечто напоминавшее гравюру Леонардо «Леда и лебедь».

Преподаватель зазвонил в колокольчик. Студенты взяли новые листы. Натурщица повернулась.

Дальнейшее Адольф едва успел понять. В поисках нужной позы женщина провела рукой по груди и животу. Он проследил глазами за ее ладонью, и вдруг злая сила сотрясла его, в мозгу что-то вспыхнуло, и он рухнул на пол.

Следующего урока с нетерпением ждала вся Академия. Преподаватели, ассистенты, студенты всех курсов – все знали про первокурсника-девственника, падающего в обморок при виде голы женщины.

Адольф поднимался по лестницам на роковой урок, как осужденный на плаху. В голове у него уже мутилось: какая-то часть его хотела на сей раз противостоять дурноте, другая же стремилась поскорее ей поддаться.

Что бы ни случилось, пусть случится быстро! Раз – и кончено!

Он стоял за мольбертом, опустив голову.

Женщина поднялась, и тишина стала тяжелой, плотной, всеобъемлющей. Казалось, была слышна барабанная дробь.

Женщина шагнула к самому краю возвышения. Встала прямо перед Адольфом и уставилась на него. Она медленно развязывала пояс кимоно, словно прицеливаясь, чтобы выстрелить в нужный момент.

И вот выстрел грянул, шелк соскользнул, блеснула перламутром нагая плоть, и Адольф рухнул. Он упал так быстро, что не услышал, как все хором грянули восторженное «ура!».

В тот же вечер, сидя в одиночестве в своей прокуренной комнатухе, он глубоко задумался. Так продолжаться не могло. Три года хлопаться в обморок и служить посмешищем – нет уж! Надо лечиться.

Лечиться? Вот и нашлось нужное слово. Он кинулся к письменному столу и немедленно написал доктору Блоху.

Адольф по-настоящему доверял тому, кто лечил его мать. Это было доверие не столько к врачу, сколько к человеку. Адольф не строил иллюзий насчет его способности исцелять, впрочем, кому под силу сегодня остановить рак? Но он с благодарностью вспоминал, как доктор Блох облегчал страдания его дорогой мамы.

В коротком письме он не упомянул никаких подробностей, только перечислил, достаточно встревоженно, свои жалобы и желание проконсультироваться как можно скорее.

На следующей неделе Адольф решил не рисковать и не пошел на урок обнаженной натуры. Он пропустил занятия, передав с вдовой Закрейс записку, в которой сослался на расстройство желудка.

Каково же было его удивление, когда в тот же день, пережевывая на кровати свои унылые мысли, он вдруг услышал в коридоре веселый голос доктора Блоха:

– Адольф, я как раз собирался в Вену, когда получил твое письмо.

Врач, высокий красивый мужчина с прямым носом и иссиня-черными бровями, которые, как и тонкие усики и борода, казались нарисованными тушью, улыбался Адольфу во весь свой белозубый рот – от этой улыбки таяли все его пациентки в Линце. Адольф был тронут: к нему примчались, о нем думали, он как будто встретился с родным человеком.

Доктор Блох вошел в комнату и сначала заговорил о пустяках. Адольфу нравился его низкий, теплый, вибрирующий голос, мгновенно создававший атмосферу душевности.

– Ну, Адольф, и чем же ты болен?

– Ничем, – ответил он – так ему вдруг стало хорошо.

– По твоему письму я бы этого не сказал.

Доктор Блох сел и внимательно посмотрел на юношу:

– Расскажи, что случилось.

Адольф думал, что никогда не осмелится рассказать свою постыдную историю, но под добрым взглядом сорокалетнего врача слова нашлись, и он выложил все. Рассказ принес облегчение: он избавлялся от проблемы, перекладывал заботу на доктора Блоха.

Тот выслушал не перебивая и надолго задумался. Потом задал несколько вопросов, выяснил, что Адольф перед обмороками нормально ел и пил, и снова задумался.

Адольфу Г. стало совсем хорошо. Он проникся доверием. Ему не терпелось узнать диагноз и получить лекарство.

Врач нерешительно прошелся вокруг кровати:

– Адольф, ответь мне как старшему брату, который тебя любит: ты уже занимался любовью с женщиной?

– Нет.

– А тебе этого хочется?

– Нет!

– Ты знаешь почему?

– Я боюсь.

Доктор Блох еще четыре или пять раз обошел кровать.

Адольф весело спросил:

– Ну? Что со мной?

Доктор Блох, помедлив, ответил:

– С тобой такая штука, которая лечится, не беспокойся. Я хочу, чтобы ты пошел со мной к специалисту.

– К специалисту? – с тревогой воскликнул Адольф.

– Если бы ты сломал ногу, я отвел бы тебя к хирургу. Если бы ты сильно кашлял, показал пульмонологу. Каждую болезнь должен лечить специалист.

– Согласен!

Адольф успокоился. Наука им займется. Это все, что он хотел знать.

Доктор Блох ушел. Через час он вернулся и сообщил Адольфу, что ему назначено на шесть часов вечера.

Весь день Адольф читал и курил, а в семнадцать тридцать встретился с доктором Блохом в конце улицы, как и было условлено.

Они ехали на двух трамваях, сделали несколько пересадок и до нужной остановки добрались уже затемно.

Пройдя немного вперед, они вошли в дом под номером 18, поднялись на второй этаж и позвонили.

Дверь приоткрылась, высунулась голова.

Доктор Блох положил руку на плечо юноши и вежливо сказал коллеге:

– Познакомьтесь, доктор Фрейд, это Адольф Гитлер.

* * *

Гитлер больше не вернулся на стройку.

Вечер у проституток спас его: он вспомнил, что не такой, как другие. Во всем. Он плевал на заработки, не желал спать с женщиной, не собирался жить по общим правилам.

Как он мог до такой степени забыть? Что за странная сила исходила от этого Гвидо? Какой ядовитый дурман едва не вернул его к берегам обыденной жизни, заставив изнурять себя на дурацкой работе, есть и спать, чтобы тупо восстанавливать силы, пить пиво, вести пустые разговоры в переполненных кафе, приближаться к кварталу красных фонарей,

чтобы, быть может, доказать себе однажды вечером, что он самый обыкновенный мужчина? Гитлер чуть было не растворился в банальном существовании, как сахар в воде. набросок и восторженная реакция двуногих спасли его *in extremis*.

– Я художник! Я художник! Я не должен об этом забывать! – энергично повторял он про себя, хмелея от этих слов.

Чудом избежав большой опасности – обыденной жизни, – он быстро выздоравливал. Вечерами снова сидел по-турецки на кровати, курил и размышлял или мечтал с раскрытой книгой на коленях. Днем гулял по Вене или заходил погреться в библиотеку, чтобы фрау Закрейс думала, что он на занятиях в Академии.

Денег у него оставалось немного, но экономить он не собирался. «Больше никогда! – говорил он себе. – Никогда больше не быть как все! Никогда не думать как все!»

Он побаловал себя тремя подряд вечерами в опере. Вагнер, как всегда, удовлетворил его превыше всех надежд. Гитлер не слушал музыку – он вдыхал ее, пил, купался в ней. Гармоничные потоки струнных и духовых накрывали его волнами, он плыл в них, тонул, но голоса, недремлющие, сильные, сияющие, были маяком, путеводной звездой гибнущих кораблей. Зная наизусть все слова, Гитлер упивался этой доблестью, этим героизмом, насыщался подвигами. Он вышел из театра прежним.

К несчастью, на третий вечер в Венской опере давали «Кармен» Жоржа Бизе, которую Гитлер еще не слышал, и юноша сбежал после первого акта: ему были до тошноты противны и эта шумная, красочная, разнузданная музыка, и эта пикантная брюнетка, которая сворачивала сигары на голой ляжке, завывая хриплым голосом несуразные мотивы: зрелище это чем-то напомнило ему заведение со шлюхами. Он вышел возмущенный, недоумевающий, как дорогой его сердцу Ницше мог восхвалять эту музыку парижского борделя, но ведь Ницше, что правда, то правда, дурно отзывался о еще более дорогом сердцу Адольфа Вагнере, и это, пожалуй, доказывало, что философ решительно ничего не смыслил в музыке.

Не важно! Пусть он не был счастлив в этот третий вечер, зато получил удовлетворение, потратив последние кроны на роскошества и излишества.

Фрау Закрейс, разумеется, снова и снова ловила его в коридоре, требуя квартплату.

– Имейте терпение, фрау Закрейс, – огрызнулся он однажды вечером. – Я получу стипендию в Академии через неделю.

– Уж будьте добры сразу погасить весь долг.

– Непременно. Смогу даже заплатить вперед за следующие месяцы.

Фрау Закрейс приняла это за чистую монету и так изумилась, что на миг потеряла дар речи. Ей никогда и в голову не приходило, что с этим убожеством Гитлером может произойти что-то хорошее. Трепеща от радостного предвкушения, она пожелала немедленно напоить его чаем с домашним печеньем.

Итак, у него оставалась неделя. А потом... Что он будет делать потом?

Не важно! Я артист. Я художник! Я не должен забивать себе голову всякими глупостями.

Он решил в эту последнюю неделю заняться своим искусством. Начал рисовать, но быстро заскучал: этого было недостаточно, ему требовалось что-то посущественнее карандаша. Он отложил блокнот и размышлял о большом полотне, очень большом, которое напишет маслом. Это будет монументальное полотно.

Он был удовлетворен. Вот проект, достойный занять его мысли.

Он закурил, представляя себе полотно. В голове теснились цифры, размеры. Он заматывался выше некуда, с каждым разом все увеличивая раму.

К утру он не нанес на холст ни единого мазка и даже не определился с темой, но испытывал полное удовлетворение оттого, что замыслил величайшую в мире фреску маслом.

В приподнятом настроении он вышел прогуляться по улицам Вены. Он был горд собой. Еще бы: ведь он только что подарил человечеству шедевр. Он выбрал для прогулки лучшие кварталы, счастливый, что живет в таком прекрасном городе, и не сомневаясь, что и город когда-нибудь будет счастлив обогатиться его творчеством.

Следующие дни Адольф провел в музее. Он не собирался изучать творения мастеров, просто хотел побыть в их обществе, ведь, как бы то ни было, и он однажды будет здесь. Он с презрением взирал на самые большие и амбициозные полотна: его творение раздавит их, низведет до размеров почтовой марки.

Время от времени он играл сам с собой в придуманную им игру. Правила были просты: встать в центре огромного зала, увешанного картинами от пола до потолка, зажмуриться, покружиться на месте, вытянув руку, ткнуть пальцем и открыть глаза: указанная картина будет равна по художественной ценности той, которую он вскоре напишет. Гитлер с восторгом «читал» свое будущее. Он даже порозовел от волнения, узнав, что будет писать так же хорошо, как Босх, Кранах и Вермеер. Естественно, те разы, когда палец указывал на банкетку, радиатор или ошарашенного зрителя музея, в счет не шли.

Однажды вечером, вернувшись домой, он уловил восхитительный запах из кухни. Фрау Закрейс в лиловом платье, принаряженная, причесанная, улыбающаяся, предложила ему разделить с ней жаркое из барашка. Гитлер помрачнел: он понял, что она ждет своих денег завтра.

Он быстро поел и, сославшись на усталость, ушел к себе. Запер дверь, аккуратно и бесшумно сложил свои вещи в большой джутовый мешок, дождался, когда привычное урчание и присвист за стеной дали знать, что фрау Закрейс погрузилась в сон, и на цыпочках прошел через квартиру.

Все его тело, все внимание сосредоточилось на одной цели: покинуть дом так, чтобы чешка об этом не догадалась.

Выйдя за дверь, он не расслабился. Надо было добежать до конца улицы, миновав грязно-желтый фонарь, свернуть на Менцельгассе и спрятаться в тени улицы Пакен.

Он глубоко выдохнул и наконец успокоился. Спасен!

Только тут до него дошло, что стоит могильный холод, мостовая обледенела, а злой ветер треплет гривы фыркающих лошадей.

Где ему переночевать? Он понятия не имел.

* * *

Адольф Г. с любопытством смотрел на доктора Фрейда: он впервые видел «специалиста».

Догадался бы он, встретив доктора Фрейда на улице, что этот коротышка, утопающий в пропахшем табаком светло-сером твидовом костюме, заслуживает почтительных похвал, которые расточал ему сейчас доктор Блох? По каким приметам он мог бы узнать специалиста? Может, по очкам, по этим чудным очкам в толстой черепаховой оправе – за их толстыми стеклами проницательные глаза походили на телескопы. Да, очки... Наверно, именно в этом дело: доктор Фрейд носил очки специалиста.

– А по каким болезням вы специалист?

Оба врача удивленно обернулись, услышав звонкий голос юноши, до сих пор хранившего угрюмое молчание.

– Я специалист по расстройствам поведения.

– Вот оно что...

– Я практикую психоанализ.

– Ну да, конечно...

Услышав слово «психоанализ», Адольф покивал с понимающим видом – «ну-да-как-же-я-мог-забыть?» – он всегда так делал, если при нем произносили слово длиннее четырех слогов. Это давало ему время подумать. Психоанализ? Полагается ли ему знать это слово? Он открыл двери своей памяти и отправился на поиски греческих выражений: *телеология*¹, *диалектика*, *психология*, *гиперметропия*², *эпистемология*³, *эпидемиология*... все эти варварские термины в остроконечных шлемах, с мечами и копьями, не подпускали его к себе. Быть может, среди этих строптивых ошетилившихся вокабул был и «психоанализ»... Наука о моче? Об обмороках?

– Тебя не смутит, Адольф, если я поприсутствую на вашем первом сеансе? – спросил доктор Блох.

Адольфа удивил его почти молящий тон. На самом деле доктор Блох обращался не к Адольфу, а к доктору Фрейду, которым, похоже, искренне восхищался.

– Нет. Совсем не смутит.

Доктор Фрейд указал на диван, покрытый восточным ковром:

– Лягте сюда, мой мальчик.

Адольф подошел к дивану, мгновенно скинул пиджак, рубашку и брюки и уже оттянул резинку трусов, но доктора посмотрели на него с изумлением.

– Нет-нет, не раздевайтесь, – сказал Фрейд, судорожно быстро подбирая с пола одежду Адольфа.

Момент был ужасно неловкий – юноша стоял перед ним в одних носках, и врач сконфуженно покраснел.

Адольф недоумевал: как же доктор будет его осматривать? – но послушно оделся и лег. Так даже лучше.

Фрейд устроился в кресле рядом с диваном.

– Я не вижу вас, доктор.

– Вот и хорошо. Смотрите в потолок.

Адольф не понял, что должен прочесть на потолке: потолок был самый обыкновенный, белый, никаких афишек с буквами, от огромных до крошечных, которые врачи обычно дают читать пациентам.

– Расскажите о вашей проблеме. Нет, не смотрите на меня. Я вас слушаю.

Все эти приемчики начинали раздражать Адольфа, однако рассказать о своих обмороках в Академии, ни на кого не глядя, и впрямь оказалось легче.

Доктор Фрейд что-то писал в блокноте, и Адольф почувствовал гордость: он, стало быть, говорит важные вещи, достойные быть записанными, этот человек проявляет к нему интерес.

– Вы любили вашу мать, мой мальчик?

Он был настолько не готов к такому вопросу, что вскочил с дивана, дрожа крупной дрожью:

– Очень.

Он напрягся. Нельзя расплакаться. Только не перед этими двумя мужчинами.

– А вашего отца?

Вот! Это был идеальный вопрос, чтобы остановить слезы. Лицо Адольфа похолодело. Ледяные сосульки царапали щеки. Он молчал.

– Вы любили вашего отца?

¹ *Телеология* – философское учение о целесообразности бытия, оперирующее наличием разумной творческой воли. – Здесь и далее примеч. ред.

² *Гиперметропия* – дальновзоркость.

³ *Эпистемология*, или гносеология, – философская теория познания.

– Я не понимаю, зачем вы меня об этом спрашиваете.

– И это мешает вам ответить?

– Да.

– Из чего я могу заключить, что вы не очень любили вашего отца.

От ярости Адольф снова вскочил:

– Я не для этого сюда пришел!

Он шагнул к докторишке, испытывая одно желание – задушить его.

Удобно устроившийся в зеленом кресле Фрейд сокрушенно поморщился и опустил глаза:

– Прошу меня извинить. Я полагал, тут может быть связь, но, видимо, ошибся. Еще раз прошу меня извинить. Мне очень жаль. Действительно жаль.

Адольф возликовал. Победа! Взрослый человек извинялся перед ним! Он поставил взрослого на место! Не просто взрослого – специалиста! Гордость вытеснила гнев.

Доктор Фрейд медленно поднял глаза на Адольфа и попросил спокойнее, хоть смущение еще слышалось в его голосе:

– Может быть, вы просто поделитесь со мной всеми хорошими воспоминаниями об отце и опишете, если вам это не слишком неприятно, те моменты, когда были счастливы в его обществе?

У Адольфа появилось ощущение, что ему расставили ловушку, но он сглотнул слюну и пробормотал:

– Хорошо.

Он вернулся на диван и дал волю памяти. Воспоминания нахлынули всем скопом, залпами, нескончаемыми потоками, но их приходилось сортировать: на одно хорошее приходилась тысяча плохих. Его отец, рухнувший однажды замертво за утренним стаканом белого вина, оставил по себе лишь боль, ненависть, множество ран. Над ним, разрастаясь до размеров воздушного шара, придавив его к дивану, нависло старческое лицо, ненавистное, невыносимое, мучительное. Эта красная рожа с низкими, нахмуренными бровями, эти буйные усы, длинные и в то же время редкие, спускавшиеся пирамидой от носа к шейным артериям, и эта вечная гримаса недовольства. Он вновь слышал голос, кричавший на него, ощущал кожей укусы ремня, чувствовал одиночество своего маленького тельца, сжавшегося в комочек под ударами у закрытой двери, за которой плакала мать, умоляя мужа остановиться. Он снова сжимал топор, которым хотел убить отца, когда тот в очередной раз поднял руку на мать. Снова отталкивал этого человека, тяжелого, грузного, пьяного, который, откричав, отбушевав, отбранившись, теперь прижимал своего сыночка к широкой груди и говорил, прослезившись от радости, о его недалеком будущем в администрации. До сих пор вздрагивал, как под ударом хлыста, от его резкого: «Артистом? Никогда, пока я жив!» Снова видел себя, Адольфа, на холодном чердаке, где хотел повеситься. Опять ощущал злую радость, испытанную над жалким гробом, этим ящиком из красного дерева, который наконец-то молчал, а он, Адольф, обнимал свою мать, бедную мать, все же убивавшуюся по своему палачу, рыдавшую и не понимавшую, что к ней наконец пришло избавление. Адольфу пришлось противостоять этой волне эмоций – эмоций из прошлого, но такого близкого, – чтобы, просеяв их, отыскать одно-два счастливых воспоминания: как они катались на лодке по реке, как собирали мед в отцовских ульях.

– Вы знаете, от чего умерла ваша мать? – только и спросил доктор.

– Да. От рака.

Горло у него сжимается. Только мужская гордость не позволила ему отбрызнуть несносного любителя совать свой нос в чужие дела. Ребенок в нем снова страдает. Он боится подступающих слез.

– От рака какого органа?

Адольф не отвечает. Если бы и хотел – не смог бы. По его лицу текут тяжелые соленые слезы, губы онемели, он не может продохнуть.

– Вы знаете?

От холодной настойчивости врача он вконец теряется. Пытается ответить, но не может произнести ни слова, только каркает по-вороньи.

Доктор Блох, испуганный судорогами юноши, кинулся к Адольфу, участливо взял его за руку и сказал:

– Фрау Гитлер умерла от рака груди.

– Я хочу услышать это не от вас, но от него. Вернитесь на место.

Голос холодный, хирургически точный. Как шприц.

Доктор Блох отступает, а голос повторяет:

– Скажите мне, от чего умерла ваша мать?

Адольф ерзает на диване, как на раскаленной сковородке. Он хочет ответить специалисту, он решил, у него получится, это будет трудно, очень трудно, но отступить некуда.

– От ра... от рака гру... груди.

Что сейчас произошло?

На него снисходит покой. Он расслабляется, почти растекается по дивану. Он обессилен, но ему стало легче. Ему так хорошо в своем теле, в каждой косточке, в каждой клеточке кожи.

Он увидел над собой улыбающееся лицо доктора Фрейда. Выражение этого строгого лица вдруг стало добродушным.

– Наконец-то! Очень хорошо. В последний момент вы сказали мне правду.

Нечто закончилось. Врачи прошли в соседнюю комнату, мирно беседуя.

Адольф понял, что может встать. Он был одет, но ему казалось, что он одевается; ноги были ватные, в голове гудело.

Он присоединился к Блоху и Фрейду:

– Ну что, доктор, какое лекарство вы мне пропишете?

Оба заулыбались; доктор Фрейд опомнился первым и нахмурил брови:

– Пока еще рано делать назначения. Нам понадобится еще несколько сеансов.

– Зачем это?

– Не думаю, что встреч будет много.

– Ладно...

Доктор Блох радостно улыбается, значит это была хорошая новость, но Адольф чувствует заведомую усталость.

– Скажите, молодой человек, как вы рассчитываете мне платить?

– Ну... денег у меня не очень много.

– Догадываюсь! – рассмеялся Фрейд. – Я знаю, что это такое. Сам был студентом.

Веселый огонек смягчил его пристальный взгляд. Адольфу было трудно представить, что этот седеющий коротышка был когда-то молод...

– Что вы умеете делать?

– Рисовать. Я учусь в Академии художеств.

– Прекрасно! Очень интересно.

– Если хотите, могу нарисовать вам вывеску: «Доктор Фрейд, психоаналист».

– Психоаналитик.

– Да, «Доктор Фрейд, психоаналитик», а под надписью помешу какую-нибудь мифологическую сцену, если хотите.

– Отлично, и какую же?

– Что-нибудь из опер Вагнера.

– Я предпочел бы греческую мифологию. Эдип и Сфинкс, например.

– Конечно. Воля ваша. Я не слишком люблю греческую мифологию. Все эти голые тела, ну, вы понимаете... Когда мне приходится рисовать обнаженную натуру...

– Вам нечего опасаться. Эдип не женщина, а мужчина...

– Тогда ладно.

Адольф протянул руку. Фрейд, улыбаясь, подал свою, и они заключили сделку: вывеска для Фрейда за исцеление Гитлера.

– В следующий раз, дорогой Адольф, приготовьтесь рассказать мне сон.

– Сон? – запаниковал Адольф. – Это невозможно, я не вижу снов!

* * *

Гитлер не был опытным бродягой. Вена тайная, Вена витальная, Вена подкладок и потайных карманов, скверов, где можно спать до рассвета и не попасться на глаза полицейскому, приютов, ночлежек, бесплатных столовых, Вена, прячущая в своих складках укромную подворотню, защищающую от ветра, навес, укрывающий от снега, опустевший на ночь класс, согретый за день дыханием школяров, Вена, скрывающая за оградой монастыря славную добросердечную сестру-монахиню, которая не боится бродяг, священника, угощающего каждого пришедшего церковным вином, дружелюбного социалиста, расстилающего тюфяки в своем подвале, Вена, где, как в древнем Вавилоне, смешиваются многие языки, теряясь и уступая место одному универсальному – языку голода и сна, Вена-спасительница, где оседают отбросы бурной индустриализации, – эта Вена была Гитлеру незнакома. Он знал другую Вену – Вену фасадов, Вену славную, монументальную, щегольскую, Вену Рингштрассе⁴ с его длинными аллеями для пешеходов и всадников, Вену имперских музеев и театров с колоннадами, Вену для иностранца, для ошеломленного студента, Вену с открытки.

Всю ночь Гитлер брел куда глаза глядят. Ходьба для него, сына мелкого служащего, была единственным оправданием его присутствия на улице. Ни в коем случае нельзя было присесть или лечь на скамейку. Это значило бы стать бродягой.

Бесцветный и неспешный рассвет стал знаком, что скитания окончены. Перед ним белел Восточный вокзал.

Он вошел внутрь. На вокзале никого не удивит, что у него с собой большой мешок.

В туалете он вымылся с головы до ног. Это было небезопасно, неудобно, вызывало презрительные взгляды спешащих пассажиров, но трудность задачи его вдохновляла: борясь за чистоту, Гитлер доказывал себе, что он человек достойный. Он почти пожалел об этой гимнастике, когда закончил, и лимонный запах общего мыла заглушил в его ноздрах аммиачный душок.

Он поднялся на перрон, сел на свой мешок и стал ждать.

Пассажиры, пассажирки, носильщики, контролеры, начальник вокзала, продавцы сосисок, служащие – все кружили вокруг него. Он был центром. Мир вращался. Он был осью. Он один мыслил о важном, он один занимал свой мозг заботами, касавшимися всего человечества: он думал о своем полотне, самом большом полотне на свете, которое он напишет и которое прославит его имя.

– Вы не могли бы мне помочь, молодой человек?

Гитлер помедлил, пытаясь сосредоточиться на реальности, и наконец повернулся к старой даме.

– Я не могу нести чемоданы, они слишком тяжелые. Будьте так любезны, помогите мне.

⁴ *Рингштрассе*, или просто Ринг, – бульварное кольцо, где находится множество достопримечательностей города, в частности Венская опера. По форме напоминает подкову, концы которой упираются в канал. Получается, что набережная замыкает ее и образует кольцо.

Гитлер не мог опомниться: стоявшее перед ним существо в шляпке с вуалькой, в перчатках, сильно надушенное туберозой, посмело нарушить его возвышенные размышления. Какая дерзость! Или, вернее, какое неразумие!

– Вы не могли бы мне помочь? Вы с виду такой славный.

Ну вот, приехали, подумал Гитлер. *Она приняла меня за бедного восемнадцатилетнего парня, который ждет поезда. Ей невдомек, что она обращается к гению.*

Гитлер улыбнулся, и в этой улыбке была вся снисходительность божества, спустившегося к простым смертным, чтобы сказать им с усталой грустью: «Нет, я не сержусь за то, что вы такие, какие есть, я вас прощаю».

Он взвалил свой мешок на спину, поднял два чемодана и пошел за старой венгеркой, рассыпавшейся в благодарностях.

Сев в коляску, она взяла Гитлера за руку, энергично ее встряхнула и скомандовала кучеру: «Трогай».

Гитлер раскрыл ладонь: женщина вложила в нее банкноту.

Моя звезда! – подумал он. *Моя счастливая звезда снова себя проявила. Именно она, моя звезда, всю ночь вела меня к этому вокзалу, она побудила эту иностранку заговорить со мной и сунуть мне в руку деньги. Спасибо, мама. Спасибо.*

Недаром давеча, на перроне, сидя на своем мешке, он по-прежнему ощущал себя центром мироздания. Ему не пригрезилось.

Он вернулся на вокзал, следуя указаниям судьбы, и весь день помогал пассажирам нести багаж. Одинокие женщины, выходившие из вагонов первого класса, опасались носильщиков-турок, слишком шумных, смуглых и бесцеремонных, зато охотно принимали помощь бледного молодого человека – он, верно, солдат в увольнении – и, расставаясь, выказывали больше щедрости, чем проявили бы к профессионалу. Ни одна, конечно, не сравнилась с венгеркой, но именно поэтому судьба сделала ее проводником своей воли.

Под вечер, выходя с вокзала с кругленькой суммой в кармане, Гитлер увидел объявление «Сдаются комнаты» в доме номер 22 по улице Фельбер. Он вошел, положил на стол деньги. Его провели в комнату под номером 16.

Он лег на кровать, скрестил руки на груди, прошептал: «Спасибо, мама» – и провалился в сон.

* * *

По пути через город на вторую встречу с доктором Фрейдом Адольфу Г. не повезло: в трамвае он был так погружен в свои мысли, что проехал пересадку и был вынужден вернуться назад.

– Я знал, что вы опоздаете, – только и сказал Фрейд, открыв дверь, чем положил конец извинениям, которые мямлил молодой человек.

Адольф не стал пускаться в объяснения, радуясь, что обошлось без упреков. Он лег на диван.

Фрейд посмотрел на часы и сел:

– Что вы хотите рассказать мне сегодня?

Адольф и рад был бы поделиться мыслями с врачом, но собственная голова казалась ему огромным пустым домом – без мебели, без картин, с белоснежными голыми стенами. Он бродил по нему и не мог ни за что зацепиться.

Несколько раз он хотел начать фразу, но, издав два-три невнятных звука, останавливался, не в состоянии продолжать и даже немного пугаясь этого.

Доктор Фрейд терпеливо ждал и, казалось, ничуть не удивлялся его молчанию.

После бесконечно долгой неловкой паузы Адольф повернулся к нему, посмотрел прямо в глаза и отчетливо проговорил:

– Мне очень жаль.

– Ничего страшного. Это я тоже предвидел.

Адольф начал понимать игру Фрейда: доктор якобы все предугадывал – случайность, забывчивость, опоздание, молчание, – но задним числом. Легко! Опровергнуть невозможно, если ты еще и наивен, пожалуй, даже восхитишься такой проницательностью. Куда как просто строить из себя всезнайку.

– В следующий раз предупредите меня заранее, доктор. Чтобы я мог проверить ваши предсказания.

– Идет. я предвижу, что к концу сегодняшнего сеанса вы меня возненавидите.

Ну, это и я мог бы предвидеть. Мы встречаемся второй раз, а он уже изрядно меня достал.

Тут Адольф Г. понял, что невольно признал его правоту, и заставил себя смягчиться.

– Как будем действовать дальше, доктор?

– Вы можете рассказать мне сон?

– Я ведь вам уже говорил, что не вижу снов!

Адольф сжал кулаки, но тут же урезонил себя. *Не нервничать, не признавать его правоту, только не признавать его правоту.*

– С каких пор вы перестали видеть сны?

– Почему мне знать! – взвизгнул Адольф.

– Нет, вы знаете.

Конечно, Адольф знает, но о том, чтобы признаться этому крестину-инквизитору, не может быть и речи. Он не видит снов с тех пор, как умер его отец. Ну и что? И главное – какой резон признаваться в этом незнакомцу?

Фрейд наклонился к пациенту и медленно произнес:

– Вы не видите снов, вернее, вы их не помните с тех пор, как вам сообщили о смерти отца.

Мерзавец! Как он догадался? Только не нервничать! Не выходить из себя!

– И я даже могу сказать вам, – продолжал Фрейд, – почему с того дня вы перестали запоминать свои сны.

– Да ну? – прокрипел Адольф и сам удивился своему противному голосу.

– Да. Хотите, чтобы я вам сказал?

– Да ладно!

– Хотите? Правда хотите?

– Валяйте, я бы поржал.

Адольф все больше удивлялся тому, как грубо отвечает доктору, но справиться с собой не мог. Господи, как хочется пустить ему струю прямо в лицо.

– Маловероятно... Думаю, вы будете... шокированы.

– Это я-то? Вот ведь умора! Меня ничем не шокировать!

Откуда этот тон? Этот визгливый голос? Успокойся, Адольф, успокойся!

– Да, ничем – кроме голой женщины.

В точку! Решительно этот человек зол на меня! Он не вылечить меня хочет, а извести!

– Согласен, я сам вам это сказал, и что с того? Выкладывайте, почему я не вижу снов после смерти отца, господин всезнайка, давайте, раз вы такой умный!

– Потому что с самого раннего детства вам не раз снилось, как вы его убиваете. Когда вам сказали о его смерти, вы почувствовали себя ужасно виноватым и, чтобы защититься от

ваших убийственных поползновений, равно как и от чувства вины, запретили себе осознанный доступ к вашим сновидениям.

Ярость захлестнула Адольфа. Он должен был ударить. Вскочив с дивана, он поискал глазами, что бы разбить.

Фрейд метнул встревоженный взгляд на стопку книг на полу. И Адольф, найдя его слабое место, начал топтать ее ногами.

– Нет... нет... – стонал Фрейд.

Адольф не утихомирился: мольбы врача уподобились для него воплям «избиваемых» книг.

Чуть успокоившись, тяжело дыша, взмокший и взъерошенный, он повернулся к врачу. Фрейд улыбнулся:

– Теперь вам лучше?

Невероятно! Он говорит так вежливо, как будто ничего не произошло!

– Я положил здесь эти книги специально для вас. И правильно сделал. Иначе вы могли бы обрушить свой гнев на что-нибудь более ценное. Такового в этой комнате хватает.

Фрейд окинул взглядом горделивого охотника старинные статуэтки, египетские, критские, кикладские, афинские, римские, греческие, во множестве стоявшие на комодах и бюро. «Переколотить бы всю эту коллекцию», – подумал Адольф, но было поздно: пламя погасло, желание ушло, гнев иссяк.

Фрейд приблизился к нему:

– Мой мальчик, в этих чувствах нет вашей вины. Всякий ребенок мужского пола слишком сильно любит свою мать и желает смерти отца. Я назвал это эдиповым комплексом. Все мы прошли через это. Беда в том, что не все отцы умеют восстанавливать гармонию семейной жизни. Ваш отец...

– Замолчите! Не хочу этого слышать! Я больше к вам не приду.

– Естественно.

– Говорю вам, это не пустая угроза: я больше сюда не приду!

– Я понял. Зачем так кричать? Я могу оглохнуть. Дело ваше. Не я падаю в обморок, а вы. Придете вы или нет, для меня это ничего не изменит. А вот для вас...

Адольф сжал голову руками. Он не вынесет этих логических построений, подобных шаманским заклинаниям.

Фрейд коснулся его плеча. Оба вздрогнули, но Фрейд не убрал руки. Мирное, успокаивающее тепло образовалось между рукой и плечом и растеклось по их телам.

Фрейд заговорил. Его голос звучал мягко, на тон ниже, и был совсем не похож на обычный тембр карлика, компенсирующего свой малый рост властью над другими.

– Заклучим сделку, мой дорогой Адольф. Если после этого сеанса вы не увидите сна, больше не приходите. Но если, как я предвижу, вы снова начнете видеть сны, обещайте вернуться. Согласны?

Адольф чувствовал такую усталость, что был готов согласиться, лишь бы положить конец этому напряжению. Уйти! Уйти как можно скорее! И забыть дорогу сюда!

– Согласен.

– Слово чести? Вы придете, если увидите сон?

– Слово чести.

Удовлетворенно кивнув, Фрейд спокойно сел за бюро и принялся что-то писать.

Адольф вышел в прихожую и стал искать свое пальто, чтобы скорее исчезнуть.

В дверях Фрейд задержал его:

– А наша сделка?

– А, ваша вывеска...

Адольф положил пальто и втянул голову в плечи. Ничего не поделаешь! Деваться некуда. Уговор есть уговор. Даже если это уговор с мошенником.

– Какую вывеску вы хотите? – спросил он мрачно.

– Вы не будете возражать, если мы изменим задачу?

Адольф пожал плечами:

– Нет, если речь идет о живописи.

Суровое лицо врача расплылось в улыбке. Он казался очень довольным.

– Отлично. Тогда благоволиите следовать за мной, прошу вас. Я все приготовил.

Адольф прошел за Фрейдом по коридору. Доктор открыл дверь:

– Это туалет, которым пользуются мои пациенты. По-моему, ему не повредит немного свежей краски.

Адольф ошеломленно смотрел на подернутые плесенью стены, на кисти и банки с зеленой краской, стоявшие на плиточном полу, и от возмущения не находил слов.

Фрейд улыбнулся и направился назад в кабинет:

– Я же говорил вам – рассердитесь.

* * *

– Зовите меня Ветти, – сказала фрау Хёрль.

Гитлер взирал на свою квартирную хозяйку с уважением.

Фрау Хёрль – нет, простите, Ветти – подчиняла себе всех, к кому обращалась, даже когда наклонялась, подавая кофе, или утопала в кресле-качалке, покуривая легкую сигару. Это была крупная, хорошо сложенная женщина, с выдающейся грудью, величественными бедрами, могучими ягодицами; из-под ее строгих платьев проглядывало тело, неподвластное ее воле. Щедрость ее форм неизменно притягивала взгляды мужчин, невзирая на строгий узел волос, глубокие, не по возрасту, складки на шее, на сеточку морщин, видневшуюся на запястьях и в вырезе платья. Непокорные рыжие пряди, выбивающиеся из прически, широкий шаг, от которого колыхались роскошные бедра, походка враскачку говорили о жаркой чувственности. Казалось, что Ветти, подобно многим крупным женщинам, была не в ладу со своим телом; оно выражало ту часть ее существа, которую ее же социальное поведение отвергало. Она говорила сухо, как скупой и дотошный бухгалтер, одевалась под даму-патронессу, а двигалась как богиня из гарема.

– Я высоко ценю артистов. Я очень рада, что вы живете у меня, Дольферль. Вы позволите мне называть вас Дольферль, дорогой Адольф?

– Да... да, Ветти.

Ветти довольно улыбнулась. Она привыкла руководить у себя всем: хозяйством, распорядком, нравами («Никаких женщин в моем доме, никаких супружеских пар») – и сама определяла степень фамиллярности общения. Она могла быть очень сдержанной, даже холодной с иными постояльцами, жившими у нее годами, или очень радушной, как намеревалась держать себя с юным Гитлером.

Это особое расположение раздражало других мужчин в пансионе. Ветти как будто говорила им: «Вы стары, а он молод и нравится мне больше вас». Поэтому все они невзлюбили Гитлера и никогда не упускали случая садануть его дверью или толкнуть на лестнице, но Адольф этого просто не замечал, как не замечал и особой любезности фрау Хёрль – о, простите, Ветти – по отношению к нему: он трепетал перед этой властной женщиной, всеобщей матерью, у которой даже фамиллярность казалась приказом.

Гитлер был особенно покорен и, стало быть, очарователен с Ветти по той причине, что солгал ей, и исключительная предупредительность хозяйки объяснялась этой ложью. Она думала, что он каждое утро отправляется в Академию художеств. Не раз, когда он поджидал

клиенток на вокзале, ему мерещилась в конце перрона Ветти – то обманывала его величая походка богатой польки или русской графини. Он приучил себя сохранять спокойствие и не бояться неожиданного появления грозной хозяйки, которая была слишком занята надзором за тем, что происходило под ее кровом, и потому позволяла себе лишь ненадолго отлучаться каждое утро на рынок и никогда не уходила далеко от пансиона, расположенного в доме номер 22 по улице Фельбер, а стало быть, ноги ее не могло быть на вокзале.

Когда Гитлеру требовалось скоротать время между двумя прибывающими поездами, он шел в кафе «Кубата», где читал газеты, разложенные на столах для клиентов. Он осваивал политику. Он, прежде читавший только книги, приключенческие романы, оперные либретто или сборники Ницше и Шопенгауэра, открывал для себя новости дня, силился усвоить названия партий, имена их лидеров, игры демократии. Он вникал во всё с одинаковой страстью, чувствуя, что становится мужчиной.

Однажды на вокзале белокурый мужчина, элегантный и изысканный, с папиросой в причудливом мундштуке из слоновой кости, затянутый в узкое пальто из каракуля, блестящего и переливающегося, как шелк, выходя из поезда, бросил журнал в урну, промахнулся, и тот упал прямо под ноги Гитлеру.

Адольф Гитлер сел в уголке и пролистал брошюру – он никогда не видел таких в кафе «Кубата», зато заметил в табачной лавке в доме номер 18 по улице Фельбер, где их покупали красивые, изысканно одетые люди. Журнал назывался «Остара», на его обложке красовался знак, которого Гитлер никогда прежде не видел, но счел настоящим произведением искусства: крест с дважды загнутыми концами. Полистав статьи, он узнал, что это свастика, древний символ солнца у индусов. Главный редактор журнала, некто Ланц фон Либенфельс, сделал этот «угольчатый» крест эмблемой германского гения.

Гитлер погрузился в чтение «Остары». С изумлением обнаружил он новую для себя мысль: Ланц фон Либенфельс утверждал превосходство германской арийской расы над всеми другими. Опираясь на данные археологии, он объяснял, что высшая – белокурая – раса пришла с севера Европы и воздвигла первые архитектурные памятники человечества, дольмены и другие нагромождения гигантских камней, которые служили одновременно «станциями», следами и вехами их прохождения, но еще и алтарями солнцепоклоннической религии. Эту белокурую расу, высшую и цивилизаторскую, языческую расу, поклонявшуюся Вотану, расу, которую Вагнер воспроизвел в богах и героях своих дивных опер, впоследствии захватили и раздробили другие расы, низшие, но многочисленные и бессовестные, черноволосые, повергшие Европу в нынешний упадок. Ланц фон Либенфельс призывал к пробуждению высшей расы: она должна вновь взять верх, защититься от других рас и без колебаний уничтожить их. Он подробно разработал беспрецедентную медицинскую и политическую программу: блондины должны ввести принудительную стерилизацию всех брюнетов, мужчин и женщин, чтобы избавиться от них за два поколения; тем временем следовало принять срочные меры: произвести в Германии и Австрии депортацию всех умственно отсталых, неизлечимо больных и представителей нечистых рас. Пусть, пока не очищена вся земля, будет обеззаражена германская территория. Первыми, от кого следует избавиться, Ланц фон Либенфельс называл евреев, представляя их грязными, вонючими крысами, проникающими повсюду через сточные трубы, поддерживающими друг друга, исподволь прибравшими к рукам финансы, промышленность и проституцию, – эти скоты, ответственные за все, что есть в мире безобразного, не посовестятся, в отличие от гордой нордической расы, организовать торговлю белыми женщинами. Чтобы отдать дань белокурой расе, героической и созидательной, чтобы воспеть хвалу голубым глазам – только они достойны смотреть на мир, – Ланц фон Либенфельс создал орден – орден Нового Храма и приглашал желающих в свой старинный замок Верфенштайн, расположенный на берегу Дуная, на лекции и ритуальные церемонии.

Гитлер был так заворожен, что забыл о времени. Сердце колотилось, во рту пересохло, вытаращенные глаза жадно пожирали каждую букву текста. Никогда в венской прессе, глобально антинемецкой и профранцузской, он не встречал ничего подобного. Даже в «Дойчес фольксблатт», откровенно антисемитском органе христианской социальной партии, не было подобной экстремистской логики, этой систематизации, разработки радикальной и рациональной программы, вытекающей из превосходства одной расы над всеми остальными. У него закружилась голова. Частичка экзальтации Ланца фон Либенфельса проникла в него, как заразная лихорадка.

Он в ярости захлопнул журнал и прочел цену, напечатанную рядом со свастикой.

– Пятнадцать геллеров за такую чушь! Ее бы следовало запретить к продаже! Мерзость!

Возмущенный такой глупостью, шокированный рассудочной, историографической, почти научной формой, в которую идеолог облек свой оголтелый расизм, он выбросил журнал в мусорный бак.

– Самое место для этой подтирки!

Воспитанный матерью в уважении к ближнему, Гитлер привык презирать антисемитов. Разве сам он не питает нежную любовь к доктору Блоху, семейному врачу, так поддерживавшему его мать во время болезни? Он никогда не судил о людях по их национальности и не различал евреев. Почитав «Остару», он не только вновь испытал впитанное в семье презрение к расизму, но был возмущен. Он чувствовал себя лично задетым нападками Либенфельса: блондины выше брюнетов! Стало быть, и его, Гитлера, следует подвергнуть вазэктомии и депортировать невесту куда. Какое опасное нагромождение нелепостей!

Нервный, раздраженный, без внушающей доверие прекрасным клиенткам улыбки на губах, Гитлер решил сегодня не работать и вернулся в дом 22 на улице Фельбер.

– О, Дольферль, вы уже дома! – смущенно воскликнула дремавшая в шезлонге хозяйка, поправляя узел волос над расслабленным телом, куда более чувственным, чем она могла себе представить.

– Да, преподаватель портрета заболел. Я пришел поработать у себя в комнате.

– Преподаватель портрета? Решительно вас учат чудесным вещам.

Гитлер скромно потупился.

– Выпьете со мной чая?

– Да, фрау Хёрль... э-э... да, Ветти.

Ветти улыбнулась, оценив усилие, как учительница, подбадривающая ученика.

Они прошли в личные апартаменты Ветти, куда постояльцам вход был заказан.

Ветти передвигалась по своей мещанской гостиной с неспешной грацией великанши; когда она нагнулась, чтобы взять поднос, груди едва не вывалились из корсажа; она села на стул с помпончиками и, выгнувшись в вызывающей позе, которую считала достойной, поднесла чашку к губам и глубоко вдохнула аромат, словно собиралась полакомиться.

– Знаете, дорогой Дольферль, мне безумно любопытно взглянуть на ваши рисунки.

Гитлер зарделся:

– Да... при случае, может быть. Пока я собой недоволен.

– Вы слишком скромны, – сказала она, опустив длинные ресницы движением соглашающейся женщины.

– Нет. Нет. Не скромн – трезв.

– О, это еще лучше, – выдохнула она с грудным хрипом, по ее мнению томным, но напоминавшим скорее альковный крик.

Опершись локтями на стол, она наклонилась к Гитлеру, и корсаж под напором грудей едва не лопнул.

– Мне бы очень хотелось при случае попозировать для вас.

Она задумалась, сложив губы в непристойную гримаску.

– Только не подумайте плохого. Я бы позировала для портрета. А вы бы могли поупражняться...

Она блеснула глазами, накрутила на палец непокорную прядь, восхищенная собственной идеей.

– Что скажете?

Но испуганный Гитлер был не в состоянии ответить.

Он вдруг заметил на рабочем столике стопку журналов «Остара».

* * *

Адольф неподвижно сидел по-турецки на кровати, запрокинув голову и прикрыв глаза, и пускал кольца дыма под потолок, как вдруг кто-то позвал его с улицы:

– Адольф! Адольф! Поторопись! Выходи!

Выглянув в окно, он увидел доктора Блоха, одетого по-вечернему, в крылатке, смокинге и цилиндре; высунувшись из фиакра, врач весело окликал его.

В мгновение ока Адольф вышел к нему в своем поношенном сюртуке, с отцовскими перчатками в одной руке и старой тростью с граненым набалдашником в другой.

Фиакр катил в ночи. Странные краски играли на лице доктора Блоха, слишком красные на щеках, слишком черные и блестящие вокруг глаз. Не знай его Адольф так хорошо, мог бы поклясться, что врач накрадился. Доктор Блох пил шампанское бокал за бокалом, угощая и юношу, который исправно вливал в себя пенный напиток.

Распевая песни, они добрались до отдаленного квартала Вены, где Адольф раньше не бывал. Коляска остановилась на берегу канала: все дома, как в Венеции, выходили прямо к воде.

Доктор Блох посадил его в гондолу. Они беззвучно и мягко скользили по поверхности черных вод, маслянистых и безмятежных, миновали несколько странных улиц, проплыли мимо освещенных дворцов, откуда доносились томные звуки баркарол.

Гондола причалила к ступенькам одного из домов, из окон которого слышался смех. На воде плясали звезды.

Доктор Блох взял Адольфа за руку, и они вошли в мраморный вестибюль. Монументальные лестницы вели на верхние этажи. На первой площадке их окружила стайка женщин в кричаще-ярких перьях, все они щебетали на каком-то неизвестном Адольфу языке. Они касались их, гладили, доктор Блох не возражал и невозмутимо улыбался, как будто это были его домашние собачки. Они тискали руки, бедра, ляжки Адольфа; ему это не нравилось, но он решил во всем подражать старшему товарищу.

На второй площадке стайка вдруг рассеялась. Доктор Блох ввел Адольфа в комнату, где несколько женщин в ночных рубашках или комбинациях увлеченно вышивали, вязали и шили.

Одна из них выронила свое рукоделие, схватилась руками за горло и воскликнула:

– Герр Гитлер!

Все закричали наперебой. Имя Гитлера перелетало от кудрявой головки к головке завитой. Они закрывали лицо руками, словно боясь пощечин...

Доктор Блох попытался овладеть ситуацией:

– Нет, это не герр Гитлер, это его сын.

Адольф почувствовал острую боль внизу живота – видно, одна из женщин коварно ударила его, – согнулся пополам, покачнулся и рухнул на пол.

Когда он сумел наконец подняться, перепуганные красотки исчезли. Доктор Блох смотрел на него по-отечески и повторял:

– Уверяю, с тобой все в порядке. Ты совершенно нормален. И не имеешь права причинять себе такую боль.

– Да нет, уверяю вас, это они...

– Т-т-т... т-т-т.

– Одна из них меня ударила, я уверен.

– Т-т-т... т-т-т... я стоял рядом и ничего не видел.

Адольф не знал, что сказать. Боль прошла. Впору было усомниться, что она вообще была...

– Иди за мной.

Доктор Блох повел его за руку в другую часть дворца. Поднявшись на несколько этажей и миновав множество вестибюлей, они пришли в маленький будуар, освещенный единственной свечой, где, томно вытянувшись в шезлонге, спала женщина в одном только красном шелковом халатике.

Адольф был заворожен молочной белизной ее кожи, которая трепетала, как поверхность воды и зов глубин, атлас и тесто, призывающие гладить и мять, плоть, которую хотелось взять в руки, хотя красота ее одновременно внушала какой-то священный страх.

Доктор Блох подошел к спящей женщине, опустился перед ней на колени и приказал Адольфу сделать то же самое.

– Смотри. И привыкай.

В первые минуты Адольф лишь поглядывал украдкой, боясь, что чересчур пристальное внимание разбудит спящую, как прикосновение пылающего пальца.

И тогда доктор Блох наклонился и медленно снял с нее красный халатик.

Женщина лежала голая, томная, погруженная в сон, раскинувшаяся в своем первобытном бесстыдстве в нескольких сантиметрах от Адольфа. У него закипела кровь.

Доктор Блох взял руку Адольфа и притянул ее к женщине. Адольф было воспротивился, неведь чего испугавшись...

Но доктор Блох не сдался, не ослабил хватки и заставил его коснуться ладонью мерно вздымавшейся груди.

От контакта с мягкой и теплой плотью все существо Адольфа содрогнулось...

...и он проснулся.

Ему понадобилось несколько минут, чтобы привести в порядок мысли и понять, что он лежит в кровати, в съемной комнате у фрау Закрейс, а пережитая чудесная сцена была всего лишь сном: доктор Блох не приезжал за ним сегодня вечером и рука его, Адольфа, не касалась перламутровой кожи волшебного создания.

Он повернулся на другой бок, зарылся головой в подушку и, обратившись к памяти, вновь и вновь переживал сцену до самого утра.

В восторге он помчался в Академию, чувствуя, что стал другим человеком. Пусть это был только сон – в эту ночь он пережил настоящую сексуальную инициацию.

На пороге Академии он остановился, пораженный.

«Если, как я предвижу, вы снова начнете видеть сны, обещайте мне, что придете».

Неприятный холодок пробежал по спине. Окаянный докторишка сказал правду: он снова видел сны. Значит, восхитительными мгновениями этой ночи он обязан несносному коротышке, заставившему его красить свой сортир!

На урок геометрии Адольф пришел в ярости, с желанием кого-нибудь поколотить. Чары ночи рассеялись. Он работал в скверном настроении.

На перемене он вздрогнул, услышав от одного из товарищей имя врача.

Бернштейн и Нойманн, два самых блестящих студента, спорили о нем.

– Это величайший гений нашей эпохи, – утверждал Бернштейн. – Благодаря ему человечество сможет познать себя и исцелиться.

– Возможно, – отвечал Нойманн, – но я не думаю, что проникновение в подсознание сыграет на руку артистам. Оно, скорее, их уничтожит. Артиста делает невроз, невроз вдохновляет его и дает творческую энергию. Я дорожу моим неврозом и не хочу познавать себя, чтобы измениться. Я стану счастливее? Плевать: предпочитаю чувствовать себя плохо и продолжать писать. Тем более что я счастлив, когда пишу.

– Но кто сказал, что психоанализ сделает тебя бесплодным? – возразил Бернштейн. – Зигмунд Фрейд лечит человека, а не артиста.

– Как ты можешь проводить грань между человеком и артистом?! – возмутился Нойманн. – Зигмунд Фрейд играет с огнем, он слишком скор на выводы.

– Ничего подобного! Зигмунд Фрейд писал об искусстве и...

Адольф был ошеломлен. Больше всего его поразило, что два студента так запросто произносили вслух имя «Зигмунд Фрейд», как сказали бы «Рихард Вагнер» или «Иероним Босх». Неужели доктор Фрейд с улицы Берг, 18, так известен? Адольф счел его простым врачом, а он, похоже, создал теории, увлекающие интеллектуальную молодежь. По трепетному почтению, с которым остальные следили за полемикой, стало ясно, что он не единственный не знал об основополагающей роли Фрейда, – кое-кому было неведомо даже его имя.

Он не очень вникал в суть спора, но узнавал слова из разговора Блоха с Фрейдом: побуждение, невроз, подсознание, цензура...

Вернувшись в класс, он подобрался к Бернштейну и спросил безразличным тоном:

– Ты говоришь о Зигмунде Фрейде, у которого кабинет на улице Берг, восемнадцать?

– Да! – воскликнул Бернштейн. – Я мечтаю побывать там однажды! Как только накоплю денег... А ты что, знаешь его?

– Да, да, – кивнул Адольф с самодовольным видом, – он друг семьи.

Этим ответом он рассчитывал избежать дальнейших расспросов, но такой реакции Бернштейна не ожидал. Тот наконец им заинтересовался, не отпускал его до вечера, выкалывал дружбу и предлагал тысячу услуг в обмен на одну только встречу с «другом семьи».

У Адольфа голова пошла кругом.

Итак, этот врач – вовсе не шарлатан, как он думал. Слишком многое говорило в его пользу: суетливое почтение доктора Блоха, явное влияние на умы, неожиданная услужливость Бернштейна, узнавшего, что Адольф знаком с Фрейдом, и – главное – сон, который ему приснился, который он помнил, первый за долгие годы...

«Если, как я предвижу, вы снова начнете видеть сны, обещайте мне, что придете».

Неотвязная, назойливая фраза все громче и отчетливей звучала в голове, и его мучила совесть.

Адольф принял решение: завтра же он пойдет туда. И сдержит обещание.

Удовлетворенный, он уснул, похвалив себя за лояльность. Впрочем, похвалы он расточал, чтобы не признаться себе, что пойдет теперь к знаменитому врачу из чистого снобизма.

Назавтра все пошло не так, как он ожидал. Фрейд был холоден, даже как будто раздосадован его веселым звонком и, невзирая на энтузиазм Адольфа, сообщившего о своем сне, как о победе, назначил ему встречу только через десять дней.

«Я ему больше не нравлюсь», – подумал Адольф, уходя.

Впрочем, с чего он взял, что вообще нравился Фрейду?

Десять дней спустя покорный и готовый к сотрудничеству Адольф явился в кабинет доктора, чтобы рассказать ему свой сон.

– Все отлично, мой мальчик, думаю, я знаю, что с вами.

Зигмунд встал и улыбнулся. Раскурил сигару и с наслаждением затянулся, демонстрируя необыкновенное дружелюбие.

– Я понял, почему вы не можете вынести вида голой женщины, не упав в обморок. И могу даже сообщить вам еще более радостную новость: через несколько минут, когда я вам все объясню, вы излечитесь.

* * *

Визиты Гитлера к Ветти стали опасно частыми. Каждый день он не меньше часа проводил в ее тесной гостиной. Выпив апельсинового чая с имбирным печеньем, Гитлер доставал картон, садился в углу, в отдалении от модели, и рисовал, рассуждая об искусстве.

– Почему бы вам не подойти чуть ближе, дорогой Дольферль? – томно стонала Ветти.

– Мотылек обжигает крылышки, если слишком близко подлетает к пламени, – неизменно отвечал Гитлер.

Ветти так же неизменно краснела и взвизгивала – она считала, что светские дамы именно так выражают свой вежливый протест, но любому, кто мог случайно проходить по коридору, эти звуки показались бы стонами любви.

Гитлер поставил условие: Ветти не должна видеть портрет, пока он не будет закончен. Он стирал, начинал заново, рвал листы, начинал заново и вносил стирал, но Ветти упорно выглядела на его наброске обезьяной. Чтобы произвести на хозяйку впечатление, он сыпал словами, заговаривал ей зубы теориями об искусстве, противореча сам себе, но Ветти грел душу сам факт разговора об искусстве – возвышенного разговора, достойного гранд-дамы, – и она слышала едва ли четверть его слов.

Часто, напуская на себя таинственный вид, она обещала познакомить его со «своими мальчиками», «как-нибудь», «если он будет умницей», «паинькой», как обещают визит к святому Граалю. Гитлер пока не знал, кто были «ее мальчики» и что происходило на воскресных вечерах, которые устраивала у себя Ветти.

И вот наконец он дождался! Ветти вручила пригласительный билет с многозначительным видом, словно хотела сказать: «Не знаю, право, заслуживаете ли вы его, ну да ладно». Потом она поплыла враскачку вверх по лестнице, бедра колыхались вправо-влево: вправо – провоцируя дурные мысли, влево – отгоняя их. На площадке она остановилась и сказала Гитлеру теплым голосом:

– Оденьтесь получше, дорогой Дольферль, мои мальчики всегда очень элегантны.

В назначенный день, в пять часов, Гитлер, с комком в горле, спустился на знаменитый воскресный чай Ветти – подлинный оргазм ее общественной жизни.

Комната гудела: молодые люди, все хорошо одетые, как и предупреждала Ветти, пожалуй даже слишком хорошо, благоухающие двадцатью разными ароматами, вели с десятков разговоров одновременно, бурно, быстро, обрывочно, и, даже улыбаясь застывшей улыбкой, казалось, не вполне сосредоточивались на том, что говорили, – взгляд отвлекался на детали, которых Гитлер не улавливал. Ни дать ни взять охотники в засаде, хоть здесь не наблюдалось ни охоты, ни дичи.

Гитлера приняли хорошо. Вялые руки жали его ладонь, ему давали место на диванчике, где приходилось сидеть бок о бок с чужими людьми. Говорил он мало, ибо не выдерживал быстрого темпа беседы, и потому много улыбался.

Ветти восседала пчелиной царицей среди этого гула. Между двумя пирожными все бурно восхищались ее красотой и грацией, слишком громко смеясь каждой ее удачной реплике. Они любили ее, обожали, превозносили. Ветти, осыпанная комплиментами, согретая восторженными взглядами, расцветала, как пышная роза.

Гитлер завидовал и ревновал. Молчаливый, неуклюжий, замкнутый, не чета другим молодым людям, у которых всегда наготове и острое словцо, и лесть, что он мог дать Ветти? Их ежедневные сеансы меркли на фоне атмосферы воскресного вечера. Однажды она пой-

мет это... как поймет и то, что художник из него никакой... она его выгонит, как пить дать выгонит.

– Дольферль? Отчего ты такой мрачный? Потерял кого-нибудь? Утрата? Разрыв?

Вернер, высокий блондин с детским ртом, уселся рядом с ним. Гитлер был слегка шокирован тем, что посторонний человек назвал его уменьшительным именем. Он не ответил, лишь снова улыбнулся. А Вернер запросто продолжил разговор:

– Чем ты занимаешься?

– Я художник.

– А, так это ты тот юный гений, о котором нам говорила Ветти?

– Правда?

– Она очень верит в твой талант. Что ты пишешь?

– Пейзажи. Улицы.

Безмятежно-голубые глаза Вернера странно блеснули.

– А обнаженную натуру?

– Да, конечно, – прихвастнул Гитлер, чувствуя, что зарабатывает очки.

– Обнаженную натуру... мужскую?

– Мужскую. Женскую. Мне нравятся обе.

Блондинчик только рот разинул от такого апломба. Он молчал несколько секунд, потом опомнился, окинул Гитлера восхищенным взглядом – мол, я умею ценить успех по достоинству – и поерзал, удобнее устраиваясь на диване. Его бедро тесно прижалось к бедру Гитлера. Он откашлялся.

– Ты знаешь «Остару»?

Вернер взял стопку журналов и благоговейным жестом положил ее на колени Адольфу.

– Хочешь рисовать для нашего журнала? Нам нужны изображения германских героев. Ты мог бы нарисовать их голыми по пояс, в дружеских схватках?

Вернер покраснел.

Гитлер не отвечал. Ему было не по себе, хотелось обрушиться на этот антисемитский листок, но он лишь спросил:

– Почему ты говоришь «наш журнал»? Его выпускаете вы, те, что тут собрались?

– Нет. Журналом руководит Ланц фон Либенфельс, – вообще-то, его зовут Адольф Ланц. Он присвоил себе дворянский титул для пущей важности – и он такой же, как мы.

– Как мы?

– Да! Как все мы здесь! Мы не согласны с бредом о расах и Германии, зато всем нравится его культ героя. «Остара» стала связующим звеном между нами.

Гитлер задумался об этом «между нами». Какое сообщество имел в виду Вернер? К какой группировке принадлежали Ланц и все эти молодые люди? Молодежь?..

Ветти, проходя мимо Адольфа, шепнула ему на ухо:

– Ну что, Дольферль, я вижу, вы спелись с Вернером?

Она протянула ему печенье и добавила с ласковым укором:

– Ах вы, озорники!

Она удалилась, лавируя между креслами, подмигнув им на прощание.

Гитлер почувствовал, что его тело налилось свинцом. Похолодело. Оледенело. Застыло. Он понял. Его приняли за извращенца. Он был на собрании извращенцев. Ему расставили ловушку.

Он вскочил:

– Мне что-то нехорошо. Пойду к себе.

– Я провожу тебя, – шепнул Вернер.

Напряженный, дрожащий – что было естественно для совсем молодого человека на грани ступора, Гитлер преодолел все преграды – ноги, кресла, столики, пуфы, подносы – и,

задыхаясь, выскочил в коридор. К его удивлению, никого не возмутил этот уход по-английски.

Один Вернер тоненько рассмеялся:

– Надо же, какой ты шустрый!

– Я иду спать.

– Отлично, я с тобой.

Только пройдя несколько метров по лестнице, Гитлер понял, что Вернер действительно идет за ним, обернулся и возмущенно воскликнул:

– Что ты делаешь?! Куда собрался?

Вернер растерялся и не знал, как реагировать, потом решил, что Гитлер шутит, а его свирепая гримаса – просто игра.

Он поднялся еще на две ступеньки:

– Идет. Раз уж с тобой надо напрямую...

Гитлер почувствовал, как чужое тело прижалось к его телу, а чужой рот ищет его губы.

Он едва мог поверить в происходящее. *Быстрее! Реагируй*, сказал он себе. *Помешай ему! Оттолкни его! Пихни! Пусть упадет! Реагируй! Не давайся...*

Но Вернер уже отпрянул с криком ужаса. Его манишка была покрыта желтоватой жижей: Гитлера вырвало на нее.

– Мерзавец! Мерзавец! Так, значит, тебе правда стало плохо? Дольферль, Дольферль, ответь мне, вернись, я не сержусь!

Но Гитлер убежал, закрылся в своей комнате, запер дверь на три замка и в ярости кружил вокруг единственного стула.

Он не знал, что злит его сильнее всего. Что его тискал мужчина? Что его приняли за «такого»? Что он не сразу понял? Что был не способен оттолкнуть Вернера? Что сблевал на него? Все жгло, все было унижением.

Постепенно, формулируя свои мысли, придумывая задним числом соответствующие реакции, он успокаивался, боль стихала. Вскоре в голове осталось только одно, главное: Ветти. Нельзя, чтобы Ветти думала, что он такой... Ветти должна узнать, что Гитлер не принадлежит к клубу гомосексуалистов.

Он хотел, чтобы она испытала это облегчение, которое будет облегчением и для него, убедилась, что комплименты, которые он ей делал, пусть не столь цветистые и более редкие, они, его комплименты, были искренни, то были комплименты мужчины, настоящего мужчины, вожделеющего женщин... Поверит ли она? Как ее убедить?

И мысль пришла, простая, ясная, сияющая: он должен объясниться Ветти в любви.

Он шесть раз почистил зубы, заново умылся над раковиной, примерил и отверг четыре рубашки, заштопал трусы и так наваксил ботинки, что они оставляли черные следы. Не важно! Он был готов и не на такое! Убедить Ветти – это требовало подготовки.

Пока первая часть плана – туалет – была ему ясна, дальнейшее же туманно...

Ничего. Мы симпровизируем.

Эта военная лексика взбодрила его.

Мы спустимся. Мы атакуем. Мы ввяжемся в сражение, а там будет видно.

Ему особенно нравилось это «мы». Если в нем живет несколько мужчин, есть шанс, что по приходе останется хоть один.

В десять часов вечера, зная, что все молодые люди ушли и пунктуальная Ветти собирается спать, он тихонько спустился вниз.

Постучав в дверь, он услышал сонный голос:

– Что? Кто там?

– Это я, Дольферль.

Поколебавшись, он чуть было не сказал «Адольф», но в последний момент испугался показаться слишком церемонным.

Дверь открылась, показалось встревоженное лицо Ветти.

– Дольферль, вам лучше? Вернер сказал мне, что вы захворали.

Адольф чуть не развернулся при одном упоминании Вернера: воспоминание обожгло, женоподобное чудовище вновь притиснулось к нему. Неужели его никогда не оставят в покое?

Собрав все свое мужество, он приосанился и решил игнорировать вопрос.

– Ветти, мне надо вам кое-что сказать.

– Что же, Дольферль?

– Кое-что очень важное.

Он не знал, что говорить дальше, и раздраженно топнул ногой. Ветти, неверно истолковав его жест, решила, что он не хочет говорить в дверях.

– Входите, дорогой Дольферль, входите. Только не смотрите на меня, я приготовилась ко сну.

Гитлер вошел в гостиную.

– Ну? Что случилось? Говорите же, я с ума схожу от беспокойства, – сказала Ветти.

Ее аффектированный тон, слова и манеры были всегда к месту, но она переигрывала, актриса на первой читке пьесы.

– Я...

– Да?

– Я вас люблю.

Ветти на мгновение застыла с открытым ртом, боясь ошибиться в следующей реплике, потом широко, по-матерински, улыбнулась:

– Я тоже, дорогой Дольферль, я тоже вас очень люблю.

Она чуть помедлила, произнося «очень», из чего Гитлер заключил, что можно зайти еще дальше.

Вперед, бойцы! Путь свободен!

– Нет, Ветти, – раздельно проговорил он, – я люблю вас не «очень», я вас люблю.

Ветти застыла.

Атакуем! Поступим, как Вернер с нами! Все в атаку!

Гитлер твердой поступью преодолел расстояние до Ветти и сжал в объятиях большое, грузное тело.

Ветти выскользнула из его рук и осела на пол, как сдвинувшийся шар. Гитлер обнимал воздух.

Ветти горько рыдала, ерзая по ковру:

– Дольферль... Дольферль... Боже, я так разочарована!

Гитлер решил, что ослышался. Батальон солдат откликнулся, как один человек:

– Да чем разочарованы, боже мой?

Прекрасные глаза Ветти, влажные и припухшие, уставились на молодого человека.

– Я думала, что вы как они, как мои мальчишки. Иначе я бы никогда... о нет, никогда бы я не была так мила с вами, никогда бы не стала позировать... О боже... как это грустно!

Дальнейшее совсем запутало Гитлера. Ветти зашлась в крике, как новорожденный младенец, едва дыша между всхлипами, ее рот был широко открыт, лицо побагровело, из-под сомкнутых век лился поток слез.

Гитлер разбудил фрау Штольц, соседку, поручил Ветти ее заботам и поднялся к себе. Он был удовлетворен. Странная реакция Ветти его не волновала, главное – он показал ей, кто он такой. Выполнил свой долг мужчины. И был доволен.

Вскоре он уснул непробудным сном.

* * *

– Сигарный дым вам не мешает?

Доктор Фрейд попыхивал своей «гаваной» с сухим причмокиванием. Звук был такой, как будто открывали банку варенья.

– В вашем сне доктор Блох играет роль отца, но не отца-тирана, подавляющего своего сына, а отца благосклонного, либерального, веселого, внимательного, который вводит сына в мир взрослых. Приехав за вами в коляске, он несет на себе все знаки удовольствия: он выражает праздник своим смокингом, веселье – шампанским, легкомыслие – песнями. Неизвестное направление, в котором он вас увозит, – это женщина.

Фрейд снова попытлся сигарой. Он затягивался, по-детски причмокивая, словно выдаивал дым, глотал его с жадностью, блаженно следил, как наполняет легкие молочное облако, досыта, до отрыжки. Он глотал больше дыма, чем выдыхал. Куда же этот дым девался?

– Затем вы выходите из коляски и садитесь в гондолу. Тихие воды, черные и спокойные, по которым вы поплывете, суть образ вашей сексуальности.

– Простите?

– До сих пор вы отказывались от всякой сексуальной жизни, сдерживали ваши импульсы, пытались их умертвить или хотя бы усыпить. Таково состояние ваших желаний в начале сна. Но из этого состояния вы желаете выйти, шагнув в двери таинственного дворца.

Адольф затрепетал от удовольствия, ему казалось, что он переживает свой сон заново в ином плане, на более высоком интеллектуальном уровне. Без красок, в белом, резком, ртутном свете, с объемами, низводящимися до штрихов, и все же эмоции были те же, но более сильные, яркие, отчетливые.

– Можно было бы подумать, что это здание – бордель, но в вашей логике это, скорее, дом женщин, или, более того, дом Женщины. Вся постройка, темная, сумрачная, тайная, с лестницами, уходящими в неведомую высь, символизирует Женщину. Она включает три ступени, на которые вы подниметесь, в результате чего пройдете настоящий путь инициации.

Фрейд наклонился к Адольфу, нахмурив брови:

– Дышите.

Удивленный, Адольф открыл рот и повиновался. Воздух вновь проник в его легкие. Он был так увлечен рассказом Фрейда, что позабыл дышать.

– Первая встреченная вами группа женщин, эти пестрые дамочки, которые щиплют вас и тискают, – это птицы, попугаи, то самое, что древние греки называли варварами, они даже не разговаривают на человеческом языке. Для вас, стало быть, женщина – абсолютная чужачка. Для вас женщина – животное.

Ну же, доктор, довольно сосать, дальше!

– Вторая группа женщин, – медленно продолжал Фрейд, – отражает конфликты вашей личной истории. Эти полураздетые и, стало быть, готовые к любви дамы, эти потенциальные любовницы пугаются при виде вас. Они выкрикивают ваше имя и пытаются защититься от ударов, которые вы можете им нанести. Доктор Блох вносит поправку: да, вас действительно зовут Гитлер, но вы – Гитлер-сын, а не Гитлер-отец, не надо путать. Вы всегда отказывались дурно отзываться о вашем отце. Это похвально, Адольф, но это причиняет вам боль. Будет лучше, если вы расскажете мне все сцены насилия, при которых вам пришлось присутствовать.

– Нет... Я...

– Я угадал, Адольф, он бил не только вас, ваших братьев и сестер, но также и вашу мать?

Адольф молчал.

Доктор Фрейд раздраженно посмотрел на свою потухшую сигару, словно это было ему личным оскорблением.

– Насилие, таким образом, для вас модель любовных отношений. Однако вы отказываетесь быть палачом женщин, не хотите быть палачом вашей матери. Чтобы не стать монстром во сне, вы ощущаете острую боль между ног: вы себя кастрируете. Лучше быть ангелом, чем мужчиной!

Глупо, но Адольф ощутил несказанную радость: какой он, оказывается, хороший.

Фрейд наставил на него указующий перст:

– Кто хочет быть ангелом, обернется чудовищем. Пока страдаете вы сами. Но если не одумаетесь, скоро заставите страдать других.

– Ваша сигара потухла, – простонал Адольф.

– Я знаю, – холодно ответил доктор.

Возмущение в атмосфере. Эмоции прорываются, летают, мечутся и бьются между врачом и пациентом.

– На третьем этаже доктор Блох приводит вас к почти нагой женщине. Из-за вашей матери, которая так мучилась при жизни, вы не можете не связывать женственность и болезнь: женщина спит при свете единственной свечи, никак не реагируя на внешний мир. Доктор Блох, раздев ее, объясняет вам, что пришел час стать мужчиной: она ваша. Он заставляет вас коснуться ее. Когда вы трогаете грудь, происходит важнейшая вещь: женщина открывает глаза и улыбается вам. Это значит, что она вас принимает. Но главное, это значит, что вы не причинили ей боли.

– Боли? Но я не боялся причинить ей боль.

– Боялись! Это вызвало в вас такую бурю эмоций, что вы проснулись. Вас выкормили грудью?

– Простите?

Адольф диву давался, до чего трудно ему бывает общаться с врачом. Вопросы раздражали и удивляли до такой степени, что он заставлял их повторять, чтобы уложить в голове.

– Да.

– А вашу младшую сестру мать тоже выкормила грудью?

– Нет.

– Почему?

– Не знаю. Сестру отдали кормилице. Моя мать... устала.

– Да, так устала, что через некоторое время заболела раком груди, от которого и умерла. С тех пор вы чувствуете себя виноватым. Вы убеждены, что это вы, Адольф, кормясь грудью вашей матери, высосали ее жизненную силу. Это не так! Слышите, Адольф, не так!

Адольф испытал странное облегчение. Незнакомая мощь наполнила его. Он задышал свободнее.

– Адольф, вы не убивали вашего отца, пусть даже, как всякий мальчик, желали его смерти. И вашу мать не убивали. Они оба умерли естественной смертью. Никакое чувство вины не должно отягощать и отравлять вашу жизнь. Вы имеете право на счастье.

Слезы текли по лицу Адольфа, но он их не замечал. Они отмывали его от прошлого, от страхов, от мучений. Словно обмывали новорожденного.

А Фрейд был добрым восприимчивым вторым рождением юноши. Без скальпеля, без разреза, не терзая плоти и не проливая кровь, он вылечил отчаявшегося человека; на диван лег подросток, а встал с него мужчина. Исчезал призрак, призрак того, чем мог бы стать Адольф Гитлер без терапии. «Несчастливым человеком наверняка, – подумал Фрейд, – а может быть, и преступником. Кто знает? Полно, не будем слишком себе льстить».

Фрейд посмотрел на зажатую в пальцах потухшую сигару, и ему пришли на ум две мысли: первая – он ни за что на свете не сменил бы профессию; вторая – надо бы все-таки бросить курить.

Он взял длиннущую спичку и попытался разжечь «гавану», она воняла остывшим пеплом и не желала разгораться.

И тогда Фрейда осенила третья мысль:

– А что, если попробовать «Ниньяс»?

* * *

– Это правда, Дольферль, то, в чем вы признались мне в тот вечер?

– Что сказано, то сказано, Ветти!

Гитлер продолжал набрасывать портрет Ветти своим мятежным карандашом.

– Вы находите меня красивой?

– Это же очевидно, боже мой.

– Вы меня вожделеете?

– Что сказано, то сказано.

Он прежде не замечал за собой этой жесткой военной манеры, которая приходила сама собой, когда он говорил о любви. Его интонации становились резкими, категоричными, безапелляционными, в чем, конечно, недоставало романтики, зато с избытком хватало властности и мужественности. Ветти мечтательно колыхалась под его словесными атаками.

– Но вы же знаете, что это невозможно, Дольферль.

– Невозможно? Что может помешать мне любить вас?

И он яростно перечеркнул рисунок: заговор карандаша, резинки и бумаги не давал ему запечатлеть это лицо в блокноте.

– Это невозможно, Дольферль, я не могу отдаться вам, вы это прекрасно знаете.

Конечно, он знал, ведь Ветти пережевывала свою историю каждый вечер.

– Я не могу отдаться вам, потому что я... я поставила крест на мужчинах.

За этим неизменно следовала скорбная эпопея ее неудачного брака. Мужчина, полный и волосатый, за которого ее выдали насильно. Его поцелуи, от которых ее тошнило в пору помолвки. Потом ужасная брачная ночь, когда тело орангутанга терзало ее, хрипя, извиваясь, разбрызгиваясь. Ее стыд поутру, когда загаженную простыню вывесили напоказ в окне. Ее решение как можно скорее разделаться с этим мужчиной, да и со всеми мужчинами. Собственное тело, которое она возненавидела с тех пор, как закон передал его в руки ее палача. Отчаяние. И наконец, облегчение в то утро, когда ей сообщили, что она овдовела.

– Поймите, Дольферль, слишком поздно. Я очень вас люблю, но вы пришли слишком поздно.

Ветти так ненавидела мужское вождение, что якшалась теперь только с гомосексуалистами, зная, что они не по «этой части». Они превозносили ее женственность, не марая ее.

– Вы понимаете, Дольферль, я им немного мать, хотя не так уж и стара.

Эта часть рассказа нравилась Гитлеру меньше. Ему было трудно смириться с близостью извращенцев и тем более с тем фактом, что его приняли за одного из них.

– Ветти, я испытываю к вам большое и чистое чувство. Это не имеет отношения ни к вашему мужу, ни к светским комплиментам ваших дружков. Я...

– Замолчите! Я не хочу больше вас слушать! – томно протестовала она.

В ее притворной ярости присутствовало скорее не кокетство, а смущение. Она тянула фразу, не шелкала бичом отказа, отягощала сказанное недомолвками, давая понять: «Я прекрасно слышу, что вы говорите, и в глубине души мне это даже нравится».

Такое положение вещей вполне удовлетворяло Гитлера. Неопытный юнец, он сильно затруднился бы ее согласием и не знал бы, что с ним делать. Тем более что в его желании было больше позы, чем истинного чувства. В то роковое воскресенье он счел нужным признаться в любви, чтобы его не путали с извращенцами. Он добился этого, так что не было нужды идти дальше. В собственных глазах он был официальным любовником Ветти. Он был им в глазах всех постояльцев пансиона в доме номер 22 по улице Фельбер. Был им по воскресеньям в глазах извращенцев. И возможно, был им даже в глазах самой Ветти...

Тысячей знаков внимания она хотела заставить Гитлера забыть о том, чего не дала ему. Он не преминул использовать это к своей выгоде и давал ей понять преувеличенным выражением своего пыла, до какой степени любит ее, чтобы сносить отказ. Мало-помалу Ветти стала ему матерью и прислужой.

Накормленный ею, обстиранный ею, он все меньше носил чемоданы на вокзале, только чтобы платить за комнату и выкроить несколько спокойных часов для себя, пока Ветти продолжала верить в сказочку про Академию художеств.

Гитлер считал, что все идет отлично: он был молодым многообещающим художником и любовником красивой вдовы, которая его содержала. Этой видимости ему хватало, и он бы очень возмутился, вздумай кто-нибудь поскрести ее и показать, что художник не пишет, любовник не спит с любовницей, а прижимистая вдова все же требует с него квартплату. Вся действительность была укрыта его взглядом на нее, точно снежным покровом.

Единственной неразрешенной проблемой оставался окаянный портрет.

– День, когда я увижу портрет, станет одним из лучших дней в моей жизни! – часто восклицала Ветти с наивным лиризмом, почерпнутым из «вокзальных» романов.

Гитлеру было все труднее защищать свой блокнот. Ветти осмелела: она приближалась, понимала его, преследовала: ей хотелось знать, какой ее видит «милый» Дольферль.

У Гитлера сработал инстинкт выживания. Воспользовавшись моментом рассеянности, он стянул фотографию Ветти, лежавшую в ящике стола, и побежал на Пратер, где художники и студенты предлагали свои услуги туристам. Выбрав самого старого – это было менее унижительно, – он протянул ему фотографию Ветти и свой блокнот для эскизов.

Час спустя, за несколько геллеров, предмет вожделения оказался у него в руках.

В тот же вечер он начал сеанс словами:

– Кажется, я почти закончил.

– Правда?

– Возможно...

Для отвода глаз он попытался еще немного поработать, нанося штрихи на уже готовый портрет, и через три минуты с ужасом обнаружил, что чуть не испортил так дорого доставшееся сокровище.

– Ну вот!

Он вскочил, припал к ногам Ветти и подал ей рисунок.

Ветти оторопела. Она залилась краской, тоненько взвизгнула, глаза ее наполнились слезами.

– Какое чудо!

Она узнала себя.

Обезумев от радости, она не отпускала своего поэта до позднего вечера. Приготовила ему ужин, сходила за сигарами, заштопала белье, попотчевала ликером из семейных запасов, а около полуночи даже взялась начистить ему ботинки. Благодарная, убежденная, что запечатлена для потомков, она кипела энергией и расходовала ее на единственное, что умела, – хозяйственные дела.

В половине первого она закончила наводить глянец и, усталая, тяжело переводя дух, подлила ликера Гитлеру, удобно развалившемуся в кресле, и снова восхищенно взглянула на портрет, занявший почетное место на буфете.

– Скажи мне, Дольферль, я ведь немножечко твоя муза?

Гитлер, разомлевший от спиртного и сытости, кивнул:

– Ты моя муза, Ветти. Моя муза.

Она права.

«Муза» звучит куда красивее, чем «раба».

* * *

Адольф Г., в припорошенном снегом пальто, прятался за узловатым стволом дерева, ожидая, когда выйдет женщина. Он приплясывал на месте и время от времени говорил сам с собой – как делают, похлопывая себя по бокам, чтобы согреться.

Как только она появится – набрасывайся. Просто объясни ей, в чем дело.

Сыпал снежок. Сонные хлопья лениво кружили у лица, словно не решаясь упасть. Они мешали видеть, цеплялись за ресницы, сковывали движения, но, коснувшись земли, тотчас растекались черной жижей, и темная дорога блестела.

Как только она появится, слышишь? Если промедлишь секунду-другую, все пропало. Значит, ты сдрейфишь и никогда этого не сделаешь.

Адольф мужественно стучал зубами. Он выполнит свою миссию во что бы то ни стало, это жизненно необходимо.

Покинув кабинет Фрейда, он испытывал чувства противоречивые, но всегда бурные. Сначала его три дня распирала радость; исцелившись от чувства вины, столь же давнего, сколь и его зрелость, он казался себе узником, вырвавшимся на свободу; мир был наконец открыт ему. Потом он понял, в каком чудовищном одиночестве жил до сих пор: ни родни, ни друзей, ни невесты, ни одного близкого человека, которому можно довериться, ни одного взрослого, который служил бы ему образцом. Защищая свои комплексы и тайны, Адольф годами жил в изоляции, он построил неприступную башню и смотрел на все сверху – башню, откуда говорил, башню, откуда он молчал, башню, где никого с ним не было и откуда он теперь хотел выпрыгнуть.

Наконец из Академии вышла женщина, затянута в черное бархатное пальто. Она шла, покачиваясь в высоких неустойчивых ботинках, с трудом сохраняя равновесие, и все время проверяла, не обледенела ли дорога. Это успокоило Адольфа: в натурщице не осталось и следа лихой надменности, исходившей от нее, когда она позировала голой.

Он выскочил из-за дерева:

– Фрау, фрау, можно вас кое о чем попросить?

– Мы знакомы?

– Я тот студент, который всегда падал в обморок на уроках рисования. Можно вас кое о чем попросить?

Лицо натурщицы просияло, юноша напомнил ей о хорошем. Она много лет раздевалась при полном равнодушии тех, кому позировала, и была довольна, когда ее нагота произвела эффект разорвавшейся бомбы. Каждый обморок юноши становился ее личной победой. Ей было жаль, что он больше не приходит, и она вернулась к прежней рутине, неудобным позам, глупым требованиям преподавателей и грубым шуткам прыщавых сопляков.

Она улыбнулась, готовая его выслушать, и даже пожелала на секунду, чтобы юноша снова сомлел.

– Вот. Я должен вернуться на уроки обнаженной натуры – это необходимо для моей учебы, – а все надо мной смеются. Поэтому мне надо поупражняться.

– Я не понимаю...

– Я заплачу вам сколько скажете, чтобы вы позировали для меня одного, прежде чем я вернусь рисовать вас на уроках.

Женщина задумалась. Она готова была согласиться на дополнительные часы за хорошую плату, но вспомнила такие сильные, близкие к оргазму чувства, которые испытывала благодаря обморокам молодого человека, и не захотела лишать себя удовольствия.

– Я могу тебе кое-кого порекомендовать.

– Не себя?

– Нет, мою...

Она прикусила губу на этом слове, чуть не сказав «мою племянницу», и поправилась:

– Мою кузину Дору. Она натурщица.

Женщина живо представила себе будущий триумф: пусть мальчишка пишет эту дурочку Дору и возвращается в Академию, думая, что излечился, а потом она – женщина, настоящая женщина, роковая женщина – скинет кимоно, и он рухнет как подкошенный. Какая сцена! Какой пассаж!

– Согласен, – сказал Адольф, у которого все равно не было запасного плана.

На следующий день в кафе «Моцарт», где стоял тошнотворный запах кислого молока с орехом пекан, состоялась встреча с Дорой. Он удивился: она оказалась его ровесницей.

– Ты привыкла позировать?

– Да, конечно.

– Сколько берешь?

Девушка назвала скромную сумму, что не внушило Адольфу доверия. Слишком молодая, слишком дешевая: у него появилось ощущение, что его надули.

Между тем Дора была хорошенькая, с белоснежной кожей и золотисто-рыжими волосами, но говорила со странным акцентом, причмокивала. Нос у нее покраснел от холода, пальто было курам на смех, а митенки безбожно рваные.

Провести ее в комнату, чтобы не заметила фрау Закрейс, оказалось так трудно, что Адольф поначалу просто забыл о своем страхе. Страх вернулся, только когда он запер дверь на ключ и понял, что сейчас девушка разденется перед ним. Он подбросил дров в печку, чтобы стало теплее.

– Можешь заплатить сейчас? – спросила она, снимая пальто.

Еще одна маленькая отсрочка, подумал Адольф, на шаривая в кармане монеты.

Оставшись в одном белье, она взяла деньги, сунула их в сумочку и посмотрела на Адольфа со смущенным видом.

– Я хотела тебе сказать... У меня есть одна проблема.

– Что? – вырвалось у Адольфа.

Он выкрикнул это слово. Потом, опомнившись, повторил тише, как будто девушка могла не слышать его крик:

– Что?

Он сразу догадался, что ему подсунули дрянной товар; он так и знал, что эта девушка с изъязном.

– Так вот...

Она колебалась.

В мозгу Адольфа одна за другой рождались догадки: у нее короста на теле, деревянная нога, это в первый раз, она не хочет позировать голой... Какая катастрофа его ждет?

– Я засыпаю, когда позирую.

Он не поверил своим ушам. Она указала рукой на дымящую печку:

– Это от тепла. Когда жарко, мне становится так хорошо, что я засыпаю.

И она как ни в чем не бывало скинула рубашку и осталась совсем голой.

Смущение парализовало Адольфа. Девушка дивной красоты смотрела на него умоляюще, как провинившийся ребенок, и за разговором почти не сознавала, что уже сняла с себя все. Не было никакой связи между этой грудью, ягодицами, животом, ляжками, лобком и встревоженным личиком, ничего общего между совершенным, женственным, складным телом и молящими глазами.

– Ну?

Она ждала ответа.

Адольф потерял нить разговора. Он вздрогнул и понял, что врач был прав: он не упал в обморок. Он улыбнулся, радуясь своей победе.

– Ну?

Лоб Доры морщился от беспокойства.

– Так все отлично! – воскликнул Адольф Г. – это относилось к его собственному состоянию.

Дора довольно вздохнула:

– Какую позу мне принять?

Адольф запаниковал. Даже в мечтах он никогда не представлял, что зайдет так далеко.

– Любую, выбирай сама, – промямлил он.

– Давай сначала лежа, тогда, если я засну, тебе это не мешает.

Она легла на кровать Адольфа и оперлась головой на руку.

Он устроился в углу и начал рисовать.

Всю жизнь я буду рисовать, писать и лепить женщин, думал он. Я нашел свое призвание.

– Не возражаешь попозировать сидя?

Дора не ответила. Она спала.

Адольф присел в изножье кровати и стал ее рассматривать. Как в своем вещем сне, он был рядом со спящей женщиной.

Как в своем вещем сне, он хотел коснуться спящей женщины.

Его рука как-то сама собой потянулась к телу, которое просило ласки: округлое плечо призывало ладонь, пухлая спина жаждала прикосновения, узкая талия требовала объятия, бедра хотели неги, ягодицы напрашивались на поглаживание. Его пальцы легли на затылок, и Дора вздрогнула.

– Ты меня трогал? – проснувшись, спросила она недовольным тоном. – Этого нельзя.

– Я тебя не трогал. Я тебя будил.

– О, прости, – сказала она, опустив глаза.

Адольф вдруг увидел, что это лицо, которое поначалу, в кафе «Моцарт», показалось ему хорошеньким, но банальным, было частью целого; оно придавало округлость и добротность надменно удлиненному телу.

Дора улыбнулась:

– Хочешь, я переменю позу?

– Э-э...

Она перекатилась по кровати к нему. Глаза Адольфа были в двадцати сантиметрах от ее груди.

– Да, отлично... Я нарисую тебя так. Не двигайся.

Она и не двигалась.

Но не двигался и Адольф.

Он пришел в ужас, почувствовав, что его тело отреагировало на мысли. Если он встанет, Дора увидит бугор под ширинкой.

– Что ты делаешь? – спросила она.

– Думаю.

Она серьезно кивнула, словно мирясь с роковой неизбежностью.

Шло время. Адольф сосредоточился на проблеме, и она лишь усугубилась.

– И что же ты думаешь?

– Что в жизни не видел ничего красивее тебя.

Щеки, шея и грудь Доры порозовели. Девушка давно привыкла, что ее разглядывают во всех подробностях, но восхищение так ей польстило, что она застыдилась, словно только сейчас обнаружила, что голая.

– Знаешь, если ты мне заплатишь, я могу остаться на ночь.

Адольф посмотрел на нее озадаченно. Решив, что шокировала его, она поспешила поправиться:

– Ладно. Если хочешь, я остаюсь, и никто не платит.

Только теперь Адольф понял, что она ему предлагает. Он залился краской и отвернулся: как быть? От паники перехватило дыхание.

Дора подошла к нему, отвела упавшую на лоб прядь волос и, прижавшись губами к его губам, опрокинула на кровать.

Адольф, на грани апоплексического удара, отдался ласкам Доры.

Все было впервые. Он не знал женского тела и не представлял, как реагирует на любовь мужское. В своем теле ему было неудобно. Слишком многое в нем выпирало, в том числе ноги, колени, локти, бедра. Он боялся сделать больно и еще больше боялся оплошать.

Терпение и опыт Доры преодолели все ошибки. Она быстро поняла, что имеет дело с девственником. Но девственник этот был австрийцем и художником, что впечатляло бедную юную чешку, простую натурщицу по случаю. Она как будто легла в постель с Империей и Академией. Повинность превращалась в священную миссию, которая облагородит ее. Поэтому она приложила все силы, чтобы превратить испуганного малого с его пылкой глупостью в почти сносного любовника. И в очередной раз убедилась в превосходстве женщины: они были ровесниками, но она руководила их играми, учила его любви. Она находила это приключение не лишенным приятности, оно дарило ей самоуважение.

Адольф учился, пытаясь сделать вид, что уже все знает. После шестого соития он устало вытянулся рядом с ней. Ему казалось, что два последних раза он был на высоте, и его потянуло на откровенность.

– Ты знаешь, что у меня это в первый раз?

– Не может быть! – притворно удивилась Дора.

– Да.

Пожалуй, в нем сработала не искренность, а гордыня.

Дора, лежа с рассыпанными по подушке волосами и глядя в потолок, спрашивала себя – без особого, впрочем, любопытства, – станет ли Адольф теперь нежным, как иные мужчины после любви, заменит ли жесты словами, часами нашептывая ей ласковые и пылкие фразы.

Вряд ли это в духе Адольфа: он впадает то в восторг, то в уныние. Однако же это было сексуальное крещение, а откровение всегда делает девственника словоохотливым. Посмотрим, решила она. Подождем.

– Завтра я куплю цветов, – пробормотал он.

«Надо же, я ошиблась, – подумала она. – Он, оказывается, из деликатных. Приятный сюрприз».

– Да, куплю большой букет цветов.

Ну просто прелесть! Ни один из ее любовников – а она начала в четырнадцать – ни разу не подумал подарить ей цветы.

– И подарю их доктору Фрейду.

– Что?

– Доктору Фрейду. Это врач-еврей, мой знакомый. Я обязан ему тем, что сейчас пережил.

Дора отвернулась к зеленоватой стене и бессовестно присвоила всю подушку. Она закрыла глаза, желая поскорее уснуть. Нет, в самом деле, врач-еврей – такого номера с ней еще никто не откалывал.

* * *

Ветти теперь могла говорить только об одном:

– Дольферль рисует днем, вечером, даже ночью. А когда не рисует, читает Ницше и Шопенгауэра, представляете? Вот это ум!

Гитлер действительно хотел свести свои отношения с Ветти к необходимому минимуму. Спускался он теперь только к обеду и быстро заметил благотворное действие такой тактики: чем меньше он давал Ветти, тем больше она расточалась для него. Коротая ожидание, она готовила ему все более изысканные блюда, с восторгом соглашалась со всеми теориями, которые он излагал ей за тушеной телятиной и шоколадными помадками, ничего не жалела, лишь бы то недолгое время, что они проводили вместе, было приятным. Доев последнее лакомство, он всегда говорил, что пойдет в свою комнату почитать; тогда она умоляла его остаться, предлагая кирш, грушевый ликер и сигару, усаживала в подушки, в лучшее кресло в гостиной, подставляла под ноги собственную скамеечку. Гитлер ворчал, отказывался для вида, давал понять, что время, которое он посвящает ей, простой смертной, отнято у богов Искусства и Мысли, но в конце концов соглашался, приносил книги и читал, развалившись в кресле и покуривая, под отчаявшимся взглядом Ветти. Вправду ли он читал? Его взгляд блуждал, скользя по словам; он не будил их, они мирно спали в стаде абзаца. Он был скорее хранителем книг, чем читателем. Страницы редко оживали и говорили с ним. Когда же это случалось, Гитлер входил в некое подобие транса. Он трепетал. Не идеи, но страсти разделял он. Он не любил умных авторов – он любил авторов заразительных. Ницше и Шопенгауэр заражали его своим презрением к заурядным людям, чувством превосходства, критицизмом. К чему расширять круг познаний? Открывая эти страницы, он знал, что найдет там основополагающие эмоции, задрожит от возмущения, затрепещет от сомнений. Он духовно мастурбировал на них, как любой задержавшийся в развитии юнец все время возвращается к непристойным картинкам, рассматривая которые он впервые возбудился.

Ветти, сидя напротив Гитлера с рукоделием в руках, клевала носом в свой обширный корсаж; Гитлер, замечая это, всякий раз укоризненно покашливал, и она просыпалась, лепеча извинения под его гневным взглядом. В те вечера, когда ему самому хотелось спать, он говорил, что накануне она не раз мешала ему медитировать. Так он поддерживал миф о собственной недоступности, подчеркивая исключительный характер этих вечеров у Ветти, хотя расчетливо принимал шесть приглашений из семи.

Теперь у Ветти не оставалось никаких сомнений: Гитлер – гений. То он слишком много говорил. То слишком долго молчал. Чрезмерность казалась ей признаком гения, а полная невозможность понять его – доказательством не ее ограниченности, но его недостижимости.

На вокзале, между прибытием поездов, он размышлял о своей живописи. В замешательстве от трудностей с портретом Ветти – удалось же ему в тот вечер в приступе гнева нарисовать Гвидо, – он заключил, что вдохновение лучше искать в архитектуре, чем в людях. Вот почему он всегда грезил о монументальности! Он будет художником городов, фасадов, храмов, соборов. Это откровение занимало все его мысли.

Как обычно, он больше убеждал себя, чем пытался. Гитлер вообще больше мечтал, чем жил, мечта была для него превыше дела. Сидя на металлической тележке, он выстраивал

в голове легенду своей жизни, шелестящую тысячей похвал, тысячей упоительных комплиментов, многими почестями и всемирной славой.

Порой было тяжело переходить от мечты к действительности, словно без конца прыгать с поезда на ходу. По свистку, по выбросу пара он падал с олимпа и был вынужден взваливать на спину унизительно тяжелые чемоданы. Он злился на пассажиров, не сознававших, чему они мешают. Проявляя великодушие, он не стыдил их за суетливое неведение и улыбался, изображая славного парня, особенно когда получал чаевые.

Началась забастовка железнодорожников. Гитлер не пытался понять, законны их требования или нет; у него вдруг стало слишком много свободного времени; он не мог вернуться в пансион, не рискуя возбудить подозрений Ветти, и даже мечты не могли больше заполнить долгие пустые дни. Ему ничего не оставалось, как рисовать, сидя на перроне.

Он начал с набросков вокзала. К несчастью, получалось у него не очень хорошо – хромали пропорции: Гитлер плохо владел перспективой. Он решил, что вокзалы – неподходящая тема, и переключился на почтовые открытки. С помощью кальки он копировал главные памятники Вены, потом переносил их на картон, обводил тушью линии и раскрашивал гуашью.

Гитлер не брался судить о результатах. Он постановил раз и навсегда, что он – гений живописи, хотя еще ничего не написал. Если обычно идут от картин к художнику, выводя гения из его произведений, то Гитлер о себе рассуждал наоборот: он гений – по божественному праву, в принципе; быть может, это еще не заметно в его рисунках, но однажды о нем узнает весь мир.

Он трудился, копируя почтовые открытки, и ценил себя все выше. Отмечая старательность на своих кальках, он принимал ее за требовательность к себе, а неловкость в расположении цветов считал оригинальностью.

Ветти восторгалась. Гитлер не обращал на это особого внимания. Она для того и существовала.

Однако он очень удивился, когда однажды в пятницу, в черный и пустой день забастовки, какой-то человек склонился через его плечо, посмотрел на дворец Траутсон, который он заканчивал рисовать, и задумчиво произнес:

– Очень, очень хорошо. Меня зовут Фриц Вальтер, я галерейщик и хотел бы выставить вас в моей галерее.

* * *

Адольф Г. познал горький вкус победы. Радовался только он – другие студенты злились, что он разрушил свою легенду, отнял у них одну из самых богатых тем для любопытства, для разговоров, для шуток: свои знаменитые обмороки. Только Нойманн и Бернштейн, преодолевая барьер равнодушия, продолжали вести теоретические беседы с Адольфом или, вернее, *при* Адольфе, потому что он, соглашаясь с одним или с другим, сам особо не высказывался.

Он не чувствовал себя одиноким, потому что никогда не думал, что ему кто-то нужен. Он понял, что некоторые радости – наверно, главные в жизни – не могут быть ни разделены, ни даже рассказаны; они – исконная часть нас самих, как наши глаза или позвоночник. Они – суть то, что мы есть. Адольф больше не боялся женщин, но этого он не мог сказать ни женщинам, ни мужчинам.

За деревом, где он однажды вечером ждал натурщицу, на сей раз ждала его она.

– Минутку... Надо поговорить.

Адольф испугался. С той самой минуты, когда он увидел ее голой и не сомлел, она обливала его враждебным презрением. Казалось, ей было невыносимо, что он на нее смотрит. Вынужденная замечать, что он здесь, она досадливо поджимала губы.

– Поздравляю, – произнесла она резким тоном, свидетельствующим об обратном. – Кажется, ты уже не так неловок с женщинами.

Адольф смотрел на свои ботинки. Как он мог забыть, что она – тетка Доры? Наверняка сейчас потребует положить конец их связи.

– Этой дурочке Доре все-таки раз в жизни что-то удалось. Удивительно.

Не ожидая нападок на Дору, Адольф поднял на нее удивленный взгляд.

– Вы, конечно же, спите вместе?

Она задала вопрос, заведомо возмущившись ответом, которого еще не получила.

– О, не возражай, – продолжала она. – Дора только это и умеет – принимать горизонтальное положение. Чтобы позировать. Чтобы спать. Чтобы давать. Всегда в горизонтальном положении, вряд ли она изменилась...

Замечание позабавило Адольфа своей точностью. Он не мог припомнить, чтобы вялая Дора когда-нибудь при нем стояла.

– Стало быть, ты больше не девственник?

Она и на сей раз тоже не ждала ответа. Губы ее растянулись в жестокой улыбке. Станный разговор, подумал Адольф, но поддерживать его нетрудно: женщина сама задавала вопросы, сама на них отвечала и читала его мысли.

– Ты, наверно, думаешь, к чему это я веду, не так ли?

Он ответил безмятежным взглядом.

– Так вот. Я хочу задать тебе один вопрос.

– И конечно, уже знаете ответ?

– Представляю.

– Тогда зачем мне его задавать?

– Чтобы ты его услышал.

Они скрестили взгляды, как шпаги, и Адольф понял, что перед ним существо опасное – опасное, ибо страстное, опасное, ибо непредсказуемое, опасное, ибо способное в мгновение ока стать другом или врагом на всю жизнь. Он вошел в клетку пантеры, даже не успев этого осознать. Полнейшей неподвижностью он дал ей понять, что готов. Удовлетворенная, она мысленно посмаковала очередной вопрос, прежде чем задать его.

– Ты умеешь делать женщину счастливой?

– А зачем?

Она моргнула. Он попал в точку – она не ожидала такого цинизма от вчерашнего девственника.

– Да, зачем? – повторил он. – Главное – что я умею быть счастливым с женщиной.

– Сопляк, – фыркнула она.

– Да, быть счастливым с женщиной – это я уже умею.

– Жалкий слизняк, я уверена, что ты не способен подарить наслаждение.

– Откуда вам знать?

– Я знаю, что ты всего лишь мужчина, а Дора всего лишь шлюха. Вдвоем у вас дело вряд ли идет дальше гимнастики.

– Она кричит.

– Ты ей платишь?

– Говорю вам, она кричит.

– Конечно кричит, если ты ей платишь, она же хорошая шлюха.

От шпилек и нападок натурщицы Адольф растерялся и забыл о своей тактике обороны – полном безразличии к заданному вопросу. Задетый в своей гордости самца, он высунулся

из норки и вот уже утверждает, что способен подарить женщине наслаждение. На этом поле его ждал проигрыш. Скорый. Вернуться на прежние позиции. Он глубоко вдохнул и произнес безмятежно:

– Дарить женщине наслаждение – не вижу в этом никакого интереса.

Натурщица поняла, что его не так легко припереть к стенке. Она схватила его за руку:

– Ах, не видишь интереса? Идем.

От неожиданности, все еще ища ответа, Адольф последовал за ней. Останавливаться поздно. Он не станет выставлять себя на посмешище, сбежав по дороге. Натурщица притащила его в кафе, которого он не знал. Войдя, она ослабила хватку, но взгляд, приказавший ему сесть, был не слабее мускулов.

– Оглянись вокруг, и ты все поймешь. Ты в кафе артистов. Кто тут только не бывает! Закажи выпить. Тут лучше, чем в зоопарке. Каждый столик – клетка. Посмотри на пары, и увидишь, что связывает мужчин и женщин. Вот этот купил свою красивую жену за деньги: она спит с кошельком. Тот взял внешностью: он красивее ее, и она готова на все, лишь бы не потерять мужа, ведь на него всегда найдется охотница. Вон те – одного поля ягоды, вместе по привычке, держатся на обещаниях: не самый прочный союз. Этот – гений, он всегда найдет не уважающую себя женщину, которая с радостью пойдет в рабство к великому человеку. Тот некрасив, скуп и в постели так себе, не удивляйся, что он пьет один. А теперь взгляни на Владимира.

Она указала на высокого, чуть сутулого человека, с густыми ресницами, крупным носом и чернящими глазами, который чокался с очень красивой женщиной.

– Владимир не красавец и не урод, скажем так – наружность у него не отталкивающая. Владимир не блещет талантом, гравюры на коробки для шоколада – его потолок. Владимиру скоро стукнет пятьдесят. Так вот, он имел их всех! Всех! Даже актрис, богатых, молодых, красивых, у которых есть выбор. И сейчас как раз хомутает еще одну.

Зеленоглазая актриса самозабвенно, с покорностью котенка, улыбалась Владимиру.

– Почему? Потому что Владимир умеет делать женщин счастливыми. Если точнее, он просто сводит их с ума.

Натурщица уставилась на Адольфа, поймала его взгляд. Ему казалось, что она целится и вот-вот выстрелит.

– У Владимира есть власть. Настоящая. Та, что открывает все двери и все сейфы. Он умеет делать женщину счастливой.

– И что с того? – грубым тоном спросил Адольф.

Наглость заразительна...

– Ты не понимаешь?

– Повторяю: и что с того? Зачем ты мне это рассказываешь?

– Разве я позволила тебе перейти на «ты»?

– Нет. Насколько я помню. Но я тоже не давал тебе такого разрешения.

Она улыбнулась, удовлетворенная агрессивным тоном, в котором пошел разговор.

– Так вот, я предлагаю научить тебя этому, сопляк.

– Научить чему?

– Делать женщину счастливой.

Он вскинул глаза: она смотрела на него с ненавистью. Устоять было невозможно. *Если я заставлю кричать эту женщину, это будет удаваться мне со всеми.*

* * *

Гитлер не мог опомниться.

Вот уже несколько недель по средам, в восемь утра, Фриц Вальтер, в каракулевом пальто, в черных кожаных перчатках, с гладкими, чуть раздраженными от недавнего бритья щеками, благоухающий смесью фиалки с лавандой, которую ввели в моду цирюльники, стучал в дверь, входил уверенным шагом богатого галерейщика, смотрел новые картины, забирал их и отдавал деньги за прошлую неделю.

– Пополам, не так ли, мой друг?

Гитлер кивал. Ему и в голову не приходило перечить этому эстету, который, помимо банкнот, каждую среду приносил ему подтверждение, что он – настоящий художник.

Суммы были не очень крупными, но Фриц Вальтер умел находить этому обоснование:

– Клиенты очень впечатляются, когда я говорю, что вам всего семнадцать.

– Двадцать.

– Неужели? Итак, они впечатляются вашим юным возрастом, но и пользуются этим. Ничего не поделаешь. «Фриц, – говорят они мне, – через несколько лет ты будешь сам назначать цену на твоего Адольфа Гитлера, но пока дай нам делать дела». Это нормально. Так было всегда. Моя работа – возбудить желание и заставить ждать. Но мои клиенты мне доверяют, они знают, что я их не обману. Так же я вел себя вначале с Климтом и Мозером. А теперь их картины идут нарасхват за миллионы марок. Очень красиво, мой мальчик, но мне больше нравится, когда вы беретесь за известные памятники. Клиенты на это падки. Не бойтесь. Ваша оригинальность не в теме, а в самой живописи. Не сдерживайте себя. Да, великие памятники Вены. Взгляните на Климта, сплошь классические сюжеты, а живопись между тем отнюдь не классическая. Ах, Климт, так и вижу его, как вас, – робел, смотрел на меня с недоверием, думал, что его охмуряют, потому что я верил в его талант. Молодость! Прекрасная молодость! Шесть картин? Восемь было бы идеально. Или лучше малые форматы. Много малых форматов. Позже, когда встанете на ноги, перейдете к большим. Как Климт. Опять Климт. Как вы мне его напоминаете!

Когда Фриц Вальтер покидал комнату с полотнами под мышкой, Гитлер еще долго чувствовал опьянение. Compliments грели душу, энергия была ключом, в голове лопались пузырьки надежды. Однажды он будет богат. Однажды он станет Климтом. Он, плохо знавший творчество этого великого художника и поначалу ненавидевший то небольшое, что видел, полностью изменил мнение об основателе Сецессиона:⁵ нет, совершенно невозможно отрицать, что Густав Климт – гений. Спорный гений – как все гении, но все же гений. Немного слишком современный. Иногда. Немного слишком декадентский. Немного слишком... но гений. Да. Бесспорный гений. И Гитлер чувствовал, что очень близок к нему.

В следующие часы упоенный собой Гитлер рьяно принимался на работу. Вперед, к шедеврам!

Ближе к вечеру он трезвел. Бесконечные кальки и бесчисленные штрихи постепенно возвращали его к действительности.

К счастью, за ужином Ветти давала ему возможность заново пережить дневные сцены. Он пересказывал ей слово в слово, что сказал галерейщик, и пускался в вольную импровизацию об отмеченном Вальтером сходстве между ним и Климтом. Он был неистощим на похвалы себе. Эту часть ремесла артиста он любил больше всего.

– А ты знаешь, Дольферль, в воскресенье вечером Вернер уверял меня, что галерея Вальтера – одна из самых знаменитых в Вене?

– Я и сам это знаю, – приосанившись, ответил Гитлер.

⁵ Сецессион – объединение венских художников в эпоху ар-нуво. Венский сецессион основан 3 апреля 1897 г. Густавом Климтом, Альфредом Роллером, Коломаном Мозером, Йозефом Хоффманом, Йозефом Марией Ольбрихом, Максом Курцвайлем, Эрнстом Штёром, Вильгельмом Листом и другими художниками, порвавшими с господствовавшим в венском Доме художников консерватизмом и традиционализмом. Первая выставка Венского сецессиона состоялась в 1898 г.

– Да, одна из лучших. Он был очень впечатлен, узнав, что ты там выставлешься. Очень, очень впечатлен.

Ветти не решилась сказать, что Вернер ей просто-напросто не поверил.

Гитлер принял комплимент, пусть и от Вернера, мерзкого педераста, посмеившего счесть его своим.

– Конечно, галерея Вальтера лучшая в городе. Фриц Вальтер открыл Климта и Мозера. Мне, наверно, надо наведаться туда как-нибудь. Посмотреть, как развесили мои полотна.

– А можно мне пойти с тобой? Я была бы так счастлива. Пожалуйста!

– Посмотрим...

Гитлер еще ни разу не был в галерее: она находилась на другом конце города и, главное, Фриц Вальтер категорически запретил ему туда являться.

– Галерея? Там место картинам. Не художнику. Вам надо быть здесь и работать. Работать и еще раз работать. Это удел гения. Коммерцией предоставьте заниматься мне. Я беру на себя неблагодарную и вульгарную работу. Я запрещаю вам, молодой человек, являться в галерею. Это может стать концом наших отношений.

Угрозы удерживали Гитлера, который, как истинный Нарцисс, конечно, не отказался бы прогуляться среди собственных полотен, висящих рядом с Густавом Климтом, Йозефом Хоффманом и Коломаном Мозером.

Но однажды Фриц Вальтер не пришел в среду.

Гитлер прождал весь день, пятнадцать раз выходил высматривать его на улицу, ничего не ел до вечера, а за ужином, заявив, что грибной суп переперчен, закатил Ветти чудовищную сцену.

Назавтра он сослался на простуду, чтобы не тащиться на вокзал (для Ветти – в Академию) и ждать галерейщика.

В пятницу он решил потерпеть до следующей среды. В субботу взялся за работу с новым усердием и до вторника намалевал множество картинок, надеясь, что его рвение чудесным образом вернет торговца.

Следующая среда. По-прежнему никакого Фрица Вальтера, то же тщетное ожидание. Гитлер бросил работу, не зная, как дожить до следующей среды.

Следующая среда. Фрица Вальтера нет как нет.

– Может, он уехал за границу? Может, говорит о тебе в Берлине? В Париже? Как знать?

Ветти изошрялась и так и этак, вымучивая успокаивающие гипотезы. Больше озабоченная физическим состоянием юноши, чем резонами галерейщика, она шла на тысячу хитростей, пытаясь его накормить. Гитлер, всегда бросавшийся в крайности, ничего не пил, не ел и чахнул на глазах. Восхищение Фрица Вальтера стало его жизненным эликсиром, и теперь ему казалось, что он перестал существовать; даже писать не хотел.

Однажды утром Ветти постучалась в его дверь в перчатках, ботинках и шляпке, разодетая как на свадьбу, и сообщила о своем решении:

– Так продолжаться не может. Я поеду в галерею Вальтера и потребую объяснений.

Пребывавший в оцепенении Гитлер не сразу понял, что говорит ему огромная принарядившаяся инженю, но потом схватил Ветти за руки, чтобы остановить ее:

– Нет. Я сам поеду.

– Не надо, Дольферль, ты же знаешь, что Фриц Вальтер не хочет видеть тебя в галерее; это неписаное условие вашего контракта.

– Он сам не соблюдает контракт, не приходя за картинами, так что я могу рискнуть.

Гитлер так радовался этой перспективе, что Ветти согласилась. Они поедут вместе. Ей даже удалось уговорить его немного подкрепиться перед экспедицией.

Парочка пересекла город на трамвае. Гитлер тонул в отцовском фраке, таком старом, что лоснящаяся ткань вытерлась до основы на локтях, ягодицах и коленях, зато Ветти появ-

зала ему на шею свой галстук из немыслимо пестрого шелка, и эта эксцентричность на фоне мертвенно-бледных щек делала юношу почти похожим на проклятого артиста. Впрочем, Ветти, разряженная, как лошадь на парад, была респектабельна за двоих.

Перед галереей Вальтера они остановились, пораженные ее богатым видом: золотые буквы, витрина черного дерева, тяжелые бархатные занавеси за стеклами, не позволявшие зевакам увидеть даже уголок-краешек-кусочек сокровища. Все это внушало уважение. Вышли покупатели – муж с огромной сигарой во рту, жена в облаке норки и сверкающих драгоценностях, и парочке стало еще страшнее: не таким, как они, переступить порог галереи Вальтера.

– В конце концов, это моя галерея. Здесь выставлены мои картины, – сказал Гитлер, чтобы приободриться.

Глубоко вдохнув, они поднялись по ступенькам и толкнули тяжелую дверь. Раздался хрустальный звук прозрачной чистоты – он как будто предупреждал: «Вы совершаете ошибку!»

Подошел служащий, пряча удивление за дежурной вежливостью.

– Мы пришли посмотреть картины, – сказала Ветти тоном, которым отчитывала запоздавших поставщиков.

– Прошу вас, вы попали по адресу, – с поклоном ответил служащий.

Гитлер внутренне возликовал при мысли, что скоро увидит свои творения на стенах.

В первых залах они с Ветти ничего не нашли, хотя на всякий случай обошли их несколько раз.

– Может быть, на втором этаже? – пробормотала Ветти, указывая на лестницу.

Должно быть, она права. Молодых художников выставляют на втором этаже. Появление малых форматов уже на первой площадке как будто подтвердило гипотезу. Они обошли весь этаж, на каждом шагу ожидая божественного сюрприза. Тщетно. Гитлер взмок:

– Наверно, они все проданы.

Как всегда, ответ нашла Ветти. Гитлер улыбнулся ей, а она по-матерински похлопала его по руке. Но они не собирались ограничиваться этими удовольствиями. Они пришли справиться о Фрице Вальтере.

Спустившись, они обратились к тому же служащему.

– Герр Вальтер здесь? – спросил Адольф – на сей раз очень самоуверенно: еще бы, он ведь продал все свои картины.

– Герр Вальтер сейчас за границей.

– Вот видишь! – воскликнула Ветти и победоносно ткнула его локтем, забыв о своих обычных изысканных манерах.

Гитлера охватило счастье.

– А когда он вернется?

– На той неделе.

– Что ж, передайте герру Фрицу Вальтеру, что заходил Адольф Гитлер и что я буду ждать его, как всегда, в среду в восемь утра.

– В доме номер двадцать два на улице Фельбер, – добавила Ветти, зардевшись оттого, что назвала свой пансион в таком престижном месте.

Служащий как будто смутился:

– Вы сказали, Фриц Вальтер?

– Да.

– Мне очень жаль, но я имел в виду Герхарда Вальтера.

– Значит, у него есть сын!

Служащий покраснел, как будто услышал непристойность.

– Нет, могу вас заверить, что у герра Вальтера нет детей.

– Но в конце концов, – вспыхнул Гитлер, – я каждую среду принимаю у себя герра Фрица Вальтера, который потом продает мои полотна здесь!

– А как вас зовут?

– Адольф Гитлер, – злобно повторил он служащему, который решительно ничего не хотел слушать.

Служащего это не смутило.

– Думаю, вы ошиблись, герр... Гитлер. Не сомневаюсь, что ваши работы представляют интерес, но могу вас заверить, что галерея Вальтера никогда не выставляла ваших произведений.

Не дожидаясь ответа, он отвернулся, раскрыл толстую книгу и сунул ее в руки Адольфу:

– Вот каталог за последние два года. Как видите...

Тут вступила возмущенная Ветти:

– Что вы несете, мой мальчик? Я сама видела герра Фрица Вальтера в моем доме каждую среду.

– В вашем доме? – насмешливо повторил служащий, окинув взглядом наряд Ветти от увенчанной перьями шляпы до ботинок на пуговицах.

– Пошли, Ветти. Уйдем отсюда.

Они вышли за порог под сардонический смех хрустального колокольчика.

Подавленное молчание делало тяжелой их поступь.

Они шли без цели. Гитлер предпочитал молчать, чтобы не разяснять эту тайну. Тяжелое бремя навалилось ему на плечи. Он был растерян, ошеломлен. Когда в его мозгу рождались гипотезы, вырисовывался обман, жертвой которого он стал, ему становилось так больно, что он тотчас переставал думать: уж лучше полная оторопь, чем многочисленные уколы догадок.

Они вышли на Пратер.

Ветти устала, пожаловалась на боль в ногах и предложила передохнуть в каком-нибудь кафе. Гитлер боялся, что за столиком придется о чем-нибудь разговаривать.

Вдруг... он решил, что ему померещилось. Поморгал, чтобы убедиться, что это не сон. Нет, все было правдой. В пятидесяти метрах дальше по бульвару Фриц Вальтер, в своем неизменном каракулевом пальто, окликал прохожих, предлагая им разложенные на скамейке картины. Повинуясь рефлексу, Гитлер схватил Ветти за руку, развернул ее и втолкнул в первое попавшееся кафе. Что бы там ни было, она не должна этого видеть.

За двумя чашками дымящегося шоколада он сказал, что ей нельзя так надолго оставлять пансион без присмотра, а ему нужно подумать, он придет позже. Он проводил ее – почти донес – до трамвая и пошел к Фрицу Вальтеру.

Тот несколько не растерял своего красноречия. Однако то, что в комнате Гитлера казалось риторикой мецената, стало вульгарной скороговоркой ярмарочного зазывалы. Он нахально заговаривал с гуляющими и даже хватал их за руки.

Гитлер стоял за деревом. Он ждал вечера. Ему не улыбалось затевать скандал на людях. Он не знал, совладает ли с нервами, и не был уверен, что одолеет коренастого и крепко сбитого Фрица Вальтера.

Когда стемнело и народу на бульваре стало меньше, Гитлер покинул свое убежище и подошел.

Фриц Вальтер рефлекторно окликнул его, потом, узнав, осекся на полупhrазе:

– А, Гитлер...

Он дал ему подойти ближе, пытаясь определить по его лицу, какую тактику защиты выбрать.

– Лжец! – воскликнул Гитлер. – Лжец и вор!

– Вор? Ничего подобного! Я исправно приносил тебе деньги.

– Ты врал мне, что ты хозяин галереи Вальтера.

Фриц Вальтер рассмеялся ему в лицо недобрым, хлестким, как пощечина, смехом:

– Если ты такой идиот, что поверил, – это твои трудности. Ты что, вправду думаешь, что галерея Вальтера взяла бы твои переводные картинки, нет, ты серьезно? Я и туристам-то их с трудом впариваю.

Гитлер оцепенел. Такого он не ожидал: вместо того чтобы защищаться, Фриц Вальтер нападал. Кусался он больно.

– Бедный мой Адольф, каким же надо быть самонадеянным, чтобы хоть на полсекунды поверить всему, что я тебе говорил. Каждый раз я врал с три короба и думал: ну все, на этот раз он поймет, какую чушь я несу, на этот раз он даст мне по физиономии. Но нет! Никогда! Ты все глотал. И Климта! И Мозера! Ни слова поперек, только просил еще, раскрыв клюв, вот как сейчас!

Гитлер стоял неподвижно, судорожно сжав кулаки. Его единственной реакцией были хлынувшие слезы.

– Что случилось, господин?

К Гитлеру подошел полицейский. Фриц Вальтер притих.

– Этот господин вам докучает? Он пытался вас обмануть? Не дал вам сдачу?

Полицейский не знал, как угодить Гитлеру. Ему явно очень хотелось наложить лапу на бродячего торговца.

– Нет, – пробормотал Гитлер.

– Ну ладно, – разочарованно вздохнул полицейский. – Но если что, скажите нам. Мы этого шельмеца давно знаем. За решетку ему не впервой. Любит он, что ли, это дело, наш Ханиш.

Фриц Вальтер смотрел в землю, зябко поеживаясь, и ждал, когда полицейский закончит. Тот еще покружил вокруг него, подозрительно оглядел разложенные картины, ища, к чему придраться. Потом, не найдя ничего криминального, удалился. Фриц Вальтер, не ломая больше комедию, вздохнул с облегчением. Он действительно испугался. Почти робко, глядя снизу вверх, он поблагодарил Гитлера за молчание:

– Молодец, что ничего не сказал.

У Гитлера кровь стыла в жилах.

– Ханиш – это кто?

– Это мое настоящее имя. Рейнольд Ханиш. Я зовусь Фрицем Вальтером, потому что у меня уже много лет полиция на хвосте. О, за сущую ерунду, но все же...

– Где ты был этот месяц?

– В тюрьме. За старую историю, пустяки. Не имеет значения.

Гитлеру хотелось стать пятилетним, бить кулаками, топтать ногами, требуя, чтобы ему вернули былые иллюзии: он целый месяц ждал Фрица Вальтера, знаменитого галерейщика, верившего в его гений, а не Рейнольда Ханиша, отбывавшего срок в тюремной камере за жалкую кражу.

– Пойдем выпьем по стаканчику? – предложил Ханиш, хлопнув его по плечу.

* * *

Адольф Г. и натурщица отправились в гостиницу «Стелла». Узкая, извилистая, шаткая лестница заранее обрекала на тесноту. Коридор был покрыт длинным, во весь этаж, вытертым розово-гранатовым ковром. На двери под номером 66 читалось 99: одного гвоздя не хватало и эмалевая табличка перевернулась. Железная кровать, немного низковатая. Покрывало, сшитое из лоскутов швейи-дальтоничкой. Стены цвета фуксии, местами облупленные.

Ничего, что внушало бы желание, однако Адольф, донельзя возбужденный, так и набросился на нее. Она ничему его не учила. Дала ему волю. Он трудился на совесть. Она смотрела на него ни тепло, ни холодно, словно наблюдала за диковинной зверюшкой. Он думал поразить ее числом своих атак и кончил пять раз.

– А ты?

– Ни разу.

Назавтра счет был тот же.

С тем же результатом.

Она объяснила ему, что такое фригидная женщина. Пусть он успокоится. Она совсем не такая. Все дело в нем. На следующий день он уже не так спешил, дал себе время лучше изучить это тело и старательно нажимал на все кнопки и рычаги, которые должны вызывать в женщине наслаждение. Под конец она признала, продолжая игру:

– Во всяком случае, ты хоть попытался.

В следующие дни он продолжал применять эту методику. Кончал реже. Она же по-прежнему ни разу.

Он вышел из себя:

– Ты же ничему не учишь меня! Обещала научить, как дать женщине наслаждение, и не научила.

– Кое-чему я тебя научила. Ты уже знаешь, что я существую.

Прошло еще два дня; Адольф сам не ожидал от себя такого упорства. Поскольку она отказывалась назвать ему свое имя, он звал ее Стеллой, как гостиницу, в которой они встречались. Он вспоминал тень улыбки, трепет губ, краску, заливавшую на миг ее грудь. Вспоминал мимолетный экстаз, мечтательную истому, увлажнившую глаза Стеллы. Он цеплялся за все это как за знаки: настанет день, и он добьется своего, она что-то с ним почувствует. В растерянности он думал о том, как неравны силы в эти часы, проведенные вместе: для него это были часы удовольствия, для нее же нет. Думал о разнице полов: мужчине наслаждение дается так легко и так часто, женщине же редко и непредсказуемо; мужчина силен, но быстро иссякает, женщина скупа, но неистощима. Он не понимал, почему его вождение, такое зримое, осязаемое, мощное, не передается ей. Он начал подозревать, что никакие механические приемы, ласки, проникновение, трение, трамбование удовольствия не передают: должен быть другой путь. Какой?

* * *

Когда в полночь, нагрузившись спиртным, Гитлер расстался с Рейнольдом Ханишем – он же Фриц Вальтер, – он не знал, что было для него всего унижительней. Что не смог набить ему морду? Что принял приглашение выпить и был вынужден благодарить за пиво? Или что допустил между ними сговор мошенников? Послушать его, им с Гитлером надо не драться, а, наоборот, держаться друг друга: если Ханиш – фальшивый галерейщик, то Гитлер – фальшивый художник; самозванство одного стоило калек другого. Оба хитрили и ловчили, чтобы выжить; зато между собой всегда были честны, ведь деньги делили с точностью до геллера.

Гитлер долго бродил по улицам Вены; свежий воздух, ночь и усталость прочищали мозги.

О чем он жалел в приключении с Ханишем, так это о своих утраченных иллюзиях. На несколько недель Ханиш привнес в его жизнь иллюзию признания, иллюзию славного будущего, иллюзию близкого богатства. В эти несколько недель, опьяненный, отравленный, он витал в облаках, едва снисходя до вульгарной действительности. Этих облаков ему теперь

отчаянно не хватало. Он не мог простить Ханишу того, что его самое большое счастье обернулось циничным обманом.

Весь город, от мостовых до фасадов, казался отлитым из блестящего гудрона. Редкие желтые огни, от одинокого окна или фонаря, быстро меркли в густых потемках, поглощенные ночью, впитанные пористыми стенами, слабо отражаясь в морщинистых тротуарах и угасая в мутной воде сточных канав.

Добираясь до улицы Фельбер, Гитлер сочинил целую историю. Он заготовил ее для Ветти. Не потому, что хотел успокоить женщину, но для того, чтобы сохранить ее уважение, эту мечту о нем, которую она с ним делила. Он якобы встретился в пивной со своими товарищами по Академии. От них Гитлер узнал, что их, жертв Фрица Вальтера, уже трое – разумеется, все самые многообещающие студенты. Афера была провернута со всеми троими одинаково. Фриц Вальтер будто бы сбежал с картинами во Францию, где продавал их по сногшибательным ценам, да-да. Говорят даже, что они все трое теперь очень известны, да, и высоко котируются на Монпарнасе, беда только в том, что деньги они вряд ли когда-нибудь увидят. Впрочем, они намеревались сегодня же подать жалобу, а директор Академии, со своей стороны, собирался нажать на посла Франции.

Разумеется, Ветти историю проглотила. Но не так охотно, как сам Гитлер. Он мало думал о ближних и лгал в первую очередь самому себе.

Он до того убедил себя, что снискал известность во Франции, что в следующие дни его так и подмывало рассказать об этом выходящим из поезда красивым пассажирам, чей певучий акцент выдавал парижанок.

От нечего делать он снова стал рисовать памятники, пока сидел в ожидании поезда на перроне. Ему нравилась тупая рутина каждого этапа, старательность, которой требовало калькирование, гордая сила штрихов, нанесенных тушью, терпеливое и ограниченное раскрашивание.

В этот день пригревало ласковое солнышко, ожидалось четыре важных поезда, и Гитлер впервые принялся за репродукцию большого формата с фотографии, найденной в газете, – это был санаторий, построенный Йозефом Хоффманом в Пинкенсдорфе, кубическое здание, не слишком трудное для воспроизведения. Гитлер был так занят то пассажирами, то своим рисунком, что весь день не замечал неподвижной фигуры, которая, тремя перронами дальше, наблюдала за ним с утра до вечера.

Только около семи часов фигура подошла к Гитлеру, и он, подняв голову, увидел перед собой Ветти.

Ее лицо дрожало от гнева. За день она успела пройти через всю гамму чувств – удивление, недоверие, возмущение, разочарование, стыд, негодование... К семи она впала в ярость и потому сразу обрушилась на юношу:

– С этого вечера я не желаю больше видеть тебя в моей гостиной! А в конце недели изволь исчезнуть из моего пансиона.

Он даже испугался, до чего Ветти стала прагматичной. Это так не вязалось с ее мечтательным характером, что можно было понять, какой глубины шок она пережила.

– И не забудь, что ты должен мне квартплату за полтора месяца.

Рот ее раздраженно кривился, как от боли.

– И радуйся, что я не считаю еду, стирку, глажку, шитье, все глупости, что я делала для тебя, потому что думала... потому что я думала...

Ее большое тело сотрясали рыдания, но она сдержала слезы.

– Потому что я думала...

Гитлер оцепенел, страхась того, что сейчас услышит.

– Потому что я думала... я думала...

Слова метались в голове Гитлера. Некоторые несли с собой ответ, другие нет. «Я думала, что ты меня любишь» – с этим было проще всего. «Я думала, что ты учишься в Академии» – тут сошла бы ложь. «Я думала, что, когда ты прославишься, мы поженимся» – это уже труднее.

– Потому что я думала, что ты художник! – выпалила наконец Ветти.

Нет. Не это. Только не она. И она туда же. Ответить нечего. Я художник. А сейчас, в этот момент, что я делаю? Ветти как раз опустила взгляд на фотографию из газеты и засаленную кальку.

– Ты... смешон.

Она повернулась и побежала прочь с вокзала. Ей удалось не расплакаться. Презрение удержало слезы. Она сумела порвать с достоинством, без патетики: смешным оказался он. С бешено колотящимся сердцем, привалившись к столбу, она с облегчением разрыдалась в красивый, слишком богато вышитый носовой платочек.

Гитлер так и остался сидеть на перроне с картонкой между ног, с восковым лицом. Чтобы не думать об ужасных словах, которые она произнесла: «Я думала, что ты художник», – он мысленно осыпал бранью эту раскормленную курицу, не умеющую жить в собственном теле, не способную прочесть книгу, явшающуюся только с гомосексуалистами, эту темную лавочницу, которая не знала, кто такой Густав Климт, пока он ей этого не сказал, а теперь позволяет себе судить об искусстве. Он должен ей квартплату за полтора месяца? Жаль, что не больше. Потому что он сегодня же уйдет не заплатив.

К Гитлеру вернулись силы. Пусть никто не заблуждается: это он возьмет на себя инициативу, чтобы положить конец нестерпимой ситуации! Он сам порвет!

В половине одиннадцатого он упаковал свои вещи и бесшумно спустился на первый этаж, к комнатам Ветти.

Сквозь портьеру, которой была задернута двойная дверь, все же просачивался свет. Гитлер услышал стоны.

– Я разочарована... так разочарована... – приглушенно бормотал плачущий голос Ветти.

– Полноте, Ветти, я же вас предупреждал, вы не хотели мне верить, вы ждали... вот теперь и страдаете.

– Ох, Вернер!

Гитлер вздрогнул. Так, значит, этот мерзавец Вернер посеял в душе Ветти зерно сомнения.

– Я сразу спросил, дорогая Ветти, у того юноши... ну, вы знаете... моего друга... который действительно учится в Академии, есть ли среди них Адольф Гитлер. Он заверил меня, что нет.

Возмутительно! Вот чем занимался Вернер, после того как Гитлер отверг его грязные авансы: сплетничал с таким же вырожденком, как он сам, чтобы погубить его репутацию. *Хорошее общество. В самом деле. Маловато для меня. Благодарю. Оставайтесь.*

И Гитлер покинул дом 22 на улице Фельбер – крадучись, но мысленно с высоко поднятой головой. Он не жалел о том, что оставил позади. Он испытывал лишь презрение к этой толстой и скупой мещанке, искавшей утешения у содомита.

«Рейнольд Ханиш. Мне надо разыскать Рейнольда Ханиша. Он приютит меня».

Он отправился в таверну, где они пили. Рейнольд Ханиш был там, красный, разгоряченный, с опухшими от пива глазами.

– А? Густав Климт! – воскликнул он при виде Адольфа Гитлера.

Гитлер не стал обижаться – так был рад, что нашел его.

– Ты можешь меня приютить? Тут вышла история с женщиной. Знаешь... пришлось уйти.

– Да нет проблем, мой мальчик, мой дом открыт для тебя. Дам тебе гостевую комнату. Хочешь стаканчик?

Успокоившись, Гитлер согласился выпить. Конечно, было что-то вульгарное в веселье Ханиша, в его пристрастии к выпивке, в увесистых хлопках по плечу и спине, но если такова цена ночи покоя... В час Гитлер, едва держась на ногах, осовев от выпитого на пустой желудок, потребовал, чтобы они пошли наконец к нему.

Взяв из-за стойки огромный рюкзак, Ханиш повел Гитлера за собой. Он перелез через ограду неосвещенного сквера и улегся между черными кустами.

– Добро пожаловать в мой дворец. Вот здесь я и ночую.

– Как! У тебя нет даже комнаты?

Ханиш похлопал по рюкзаку, делая из него подушку.

– А ты как думаешь, Густав Климт? Что с твоих картин я смогу за нее платить?

* * *

Стелла кричала под ним. На каждое его движение она отвечала вздохом или содроганием. Инструмент плоти был тяжел в ее руках, но Адольф научился наконец играть на нем, извлекая нужную музыку.

Только бы сдержаться.

Стараясь не смотреть на кричащую, раскрепощенную Стеллу, он заставлял себя думать о другом; чтобы она наслаждалась хорошо и долго, он должен был лишиться себя этого наслаждения и стать чистой пружиной, механизмом. *Только не думать о частях моего тела, которые соприкасаются с ней. Думать о другом. Быстро.* Надо было отрешиться от своего желания. Он уперся взглядом в пятно на стене и, продолжая двигать бедрами, сосредоточился на его происхождении: жир, ожог, раздавленный таракан? Чем неаппетитнее были варианты, тем больше он удалялся от своих ощущений. Сработало. Да, таракан, огромный таракан, раздавленный ботинком чеха, в этой гостинице полно чехов. Кто-то, кто пришел в эту комнату переночевать, а не за тем, чем он сейчас занимался со Стеллой – Стеллой, которая колыхалась под ним, и он...

Нет...

Поздно. Наслаждение обрушилось на него, яростное, сокрушительное. Он обмяк на Стелле.

Она еще несколько раз содрогнулась и тоже застыла, расслабившись.

Я выиграл.

В тишине его радость была физически осязаемой.

Стелла медленно отодвинула его и встала, чужая, безмолвная. Она смотрела на него с еще большим презрением, чем обычно. Он бросил на нее взгляд – вопросительный, умоляющий, тот, за которым начинается отчаяние.

Она улыбнулась жестокой улыбкой:

– И ты поверил?

Она начала натягивать чулки. Именно занимаясь этим кропотливым делом, она всегда говорила ему самые безжалостные слова.

– Твое самомнение безгранично. Я притворялась.

– Отлично: я прекращаю! – выкрикнул Адольф Г.

– Какая разница? Прекращай, ты и не начинал.

– На этот раз я прекращаю всерьез. Окончательно.

Он убеждал сам себя. Сколько уже раз он заявлял, что все кончено, что он бросает это глупое пари, что ему плевать, делает ли он женщину счастливой? Беда в том, что Стелла, вместо того чтобы протестовать, спорить, уговаривать, соглашалась. Тогда он начинал чув-

ствовать себя совсем жалким и, чтобы хоть мало-мальски уважать себя, назавтра приходил снова.

Явился он и на следующий день. На этот раз Стелла не стала притворяться. И проведенные вместе два часа прибавились к длинному списку его поражений.

Он сам не понимал, почему так упорствует. Это больше не был ни вызов, как в первый день, ни пари, как он думал потом, ни даже наваждение, хоть он и был одержим телом Стеллы. Теперь это было глухое и глубокое чувство, нечто почти религиозное. Женское наслаждение стало его поиском, Стелла – его храмом, женщина – его Богом, великим безмолвием, к которому устремлялись все его мысли. Как верующий человек преклоняет колени, он благоговейно трудился, добиваясь благодати.

День и ночь он размышлял о наслаждении. Как испытать его, он знал. Но как его дать? Похоже, оно не передавалось, как зараза.

Однажды на уроке в Академии его осенило. Стелла должна испытать желание, чтобы кончить. В ее наслаждении не было ничего органического, это было нечто личное. Адольф должен сделать так, чтобы она его захотела.

Он вдруг понял, какое впечатление, должно быть, производит на Стеллу: взгромоздившийся на нее краб, в дурацком возбуждении судорожно болтающий клешнями, – этот краб был ей безразличен.

В тот понедельник он предложил Стелле не идти в гостиницу, а выпить вместе шоколада и был удивлен, когда она сразу согласилась. Они весело болтали, забыв о постельной войне, и даже посмеялись. Во вторник он предложил пойти на концерт; она снова согласилась. В среду он пригласил ее прогуляться в зоопарк; она согласилась и на этот раз, но в глазах ее мелькнула тревога. После прогулки, когда они прощались, она спросила:

– А в гостиницу мы больше не пойдем?

Впервые Стелла дала перед ним слабину: она испугалась, что Адольф ее больше не хочет.

– Пойдем, еще как пойдем, – ответил он, устремив на нее взгляд, полный ожидания.

Она успокоилась, и лицо ее снова стало насмешливым.

В четверг Адольф в точности выполнил разработанный им план. Он встал на рассвете и весь день изнурял себя ходьбой, так что вечером, встретившись со Стеллой в гостиничном номере, был таким усталым, что не смог выполнить привычных упражнений.

– Извини, я не знаю, что со мной, – сказал Адольф, чем окончательно поверг ее в растерянность.

– Ты устал?

– Нет. Не больше обычного.

В пятницу они со Стеллой должны были встретиться в пять часов. В назначенный час он спрятался в кафе напротив, убедился, что Стелла вошла в гостиницу, и стал ждать. В половине седьмого он обежал квартал, нарочно плохо дыша, чтобы прийти в номер запыхавшимся.

Стелла при виде его вздрогнула:

– Где ты был? Я беспо...

Она прикусила язык: беспокоиться было уже не о чем, он пришел.

– Меня задержали в Академии. Директор. Ничего серьезного. Извини, я не мог тебя предупредить. Я... мне очень жаль.

– Ничего, все в порядке, – сухо ответила она.

Беспокойство сменилось гневом; она вся кипела, злясь на себя, что оказалась такой чувствительной.

– Очень мило, что ты меня дождалась. Я сам заплачу за номер.

– Плевать на деньги, – отрезала она.

– Мы попытаемся наверстать на той неделе.

– Что? Ты уходишь?

В ярости она сгребла его за шиворот и опрокинула на кровать.

– Ты больше не хочешь?

– Конечно хочу.

– Докажи.

– Но полчаса, Стелла, полчаса, этого мало.

– Кто тебе сказал?

– О, мне-то хватит, но тебе, Стелла...

– Меня зовут не Стелла – Ариана.

И она начала его раздевать.

В первые секунды Адольф чуть не рассмеялся, как зритель, увидевший наконец сцену, которую ждал с начала спектакля, но мощное желание Стеллы все в нем перевернуло. Впервые на него обрушилась сила, захватила его, овладела всем его существом. Ему казалось, что он сам стал женщиной.

Теперь у них все было очень серьезно. Хуже того – трагично. Что-то очень большое возвысило их. Они играли главную сцену. Их тела отзывались. Внезапные излияния передавались друг другу. Даже кожа зудела от избытка эмоций. Они были как наэлектризованные. Между ними искрило. Каждый хотел сделать своим незнакомый и презираемый пол другого. Они сближались, не соединяясь. Сливались, не теряясь. Ариана—Стелла затрепетала, ее охватила дрожь. Адольф устремил взгляд в ее глаза и там, в сияющей радужке, в черных расширенных зрачках, увидел, как поднимается волна их общего наслаждения.

* * *

– Ладно, не спорю, я тебе врал. Но ведь и ты тоже, дружище. Ты первый начал. На, бери колбасу. Ты мне заливаешь, что учишься в Академии... Что мне остается делать, чтобы быть на твоём уровне? Я представляюсь Фрицем Вальтером, тем самым Фрицем Вальтером из галереи Вальтера. Ты глотаешь наживку. Мы делаем хорошие дела. Почему я должен меняться? Ты хочешь, чтобы я тебе вредил? Знаешь, в чем твоя слабость? Ты так и остался мещанином. Нет, успокойся, возьми еще колбаски. Да, вот именно, ты рассуждаешь как твой отец, как мелкий чиновник, как белый воротничок, отмеченный вышестоящим начальством: тебе нужны дипломы, карьера, признание. Венская академия? Ты вправду думаешь, что да Винчи и Микеланджело учились в Венской академии? Ты вправду думаешь, что они лебезили перед бюрократами, считали баллы и годы в администрации? У тебя холодные глаза, Адольф Гитлер, ты боишься дорасти до своей мечты, ты погубишь себя, если будешь продолжать в том же духе. Работать – что это для тебя значит? Вкалывать, чтобы платить квартирной хозяйке? Неужто ты живешь на свете для всяких там Ветти и Закрейс? Ты на ложном пути, Адольф Гитлер, работать для тебя – значит совершенствовать твоё искусство. Ты даже не представляешь себе, каким великим художником станешь. Да-да. Ты сам испугаешься, если сейчас перед тобой поставят полотна, которые ты напишешь через несколько лет. Ты задрожешь. Тебя охватит священный трепет. Ты преклонишь колени перед гением и поцелуешь раму. Да-да, лучшему из лучшего, что ты делаешь сегодня, далеко до худшего завтрашнего дня. Поверь мне. Вот твой путь. Только это важно. Спать? Это физиология. Природа человеческая. Иначе нельзя. Не думай об этом. Было бы где прилечь, и ладно. Летом есть парки, в дождь – кафе, а осенью ночлежки открывают свои двери на всю зиму. Все предусмотрено, Адольф Гитлер, все предусмотрено для таких гениев, как ты. При условии, что они не мещане. Ты будешь работать, оттачивать своё искусство, я буду продавать твои картины и все возьму на себя. Доверься мне, у нас всегда будет что есть, что пить и где переноче-

чевать. Доверься мне, и будешь ссать, срать и спать. Что? Чистота. Да, чистота. Мыться тоже. Разве от меня воняет? Ты находишь, что я похож на бродягу? Можно купаться, принимать душ в ночлежках. Дезинфицировать одежду у монахинь. Есть даже цирюльник – по средам, с утра, в Социальном содружестве. Я все знаю. Все тебе скажу. Все мои секреты. Дай-ка мне ломтик. Это упадок? Брось, не смей меня. Упадок, да, по твоим мещанским понятиям. Я зову это иначе – свобода. Вот именно. Абсолютная свобода. Мы выше всего этого. Ты ни от кого не зависишь. Ни перед кем не отчитываешься. Свободен. На улице Гумпендорфер всегда нальют горячего супа. В богадельне всегда найдется местечко, если ты заболел. Кстати, о болезнях: я больше не болею, с тех пор как живу на улице. Правда. Именно так. В хорошо отапливаемых домах ты пригреваешь микробы. Обильной пищей ты микробы кормишь. В высшем обществе женщины умирают от насморка, веришь, нет? Я же вместе со свободой предлагаю тебе здоровье, дружище, а уж если все-таки, на беду, попадется упорный микроб, топи его в стакане водки. Действует безотказно. Науке это давно известно, только врачи и аптекари нам не говорят, иначе потеряют золотые горы, на которых сидят. Эй, Густав Климт, я к тебе обращаюсь. Спасибо. И оставь-ка мне колбасы, не то будешь гореть в аду. Конечно, есть еще женщины, скажешь ты мне, женщины падки на мед, как медведи, а где тут мед... ни слова больше, Адольф Гитлер, тут ты тоже заблуждаешься, потому что тебе не хватает веры в себя: женщины, которых можно привлечь деньгами, красивыми тряпками, городскими квартирами, баловством, – эти женщины нас не стоят. Эти женщины ищут ренту, а не любовника. Для артиста вроде тебя это западня, боже упаси. Был ты счастлив с твоей Ветти? Честно? Разве она не тянула тебя вниз? Мм? Все, что ей было нужно, – фасад, чем похвалиться перед подругами, ничего больше. Разве ты мог поделиться с ней своими сомнениями? Какие были ее последние слова? Деньги потребовала? Почти все они такие. Кроме одной, настоящей, единственной, неожиданной-негаданной, той, которую ты, быть может, встретишь, которую уготовила тебе судьба, и будь спокоен, уж она-то тебя узнает. Даже в куче отбросов она тебя узнает. Ты ее достоин, и она достойна тебя. А об остальных – забудь. Если тебе понадобится женщина – вот они, стоят на панели для нас, поджидают нас в борделе. Днем и ночью они тебя ждут – слышишь, Гитлер? – днем и ночью. Дай денег, поднимись, облегчись, и до свидания. Аккуратно. Чисто. Все путем. Проехали. Твое искусство, только твоё искусство имеет значение; всю свою энергию отдавай ему. Отличная колбаса! Где бишь мы ее брали? Надо будет снова туда наведаться. Так о чем я? Твое искусство. Только твоё искусство. Люди – предоставь их мне; я буду их зазывать, хватать за рукав, я открою им глаза на твои произведения, заставлю их покупать, всю черную работу я беру на себя, чтобы ты, в твоём высоком одиночестве, мог творить без помех. Только творить. Я завидую тебе, Адольф Гитлер. Да, завидую, что ты такой, какой ты есть, и имеешь такого друга, как я. Тебе на все плевать, ты никого не любишь – даже меня, а ведь я перед тобой благоговею, – ты видишь только твой идеал и созидаете высокое искусство. Я бы обиделся, если бы не любил тебя. Обиделся бы, если бы я, жалкая тля, не был предан тебе всей душой. Где вино? Черт, кислятина! На, я тут открыток принес тебе для новых идей. Что правда, то правда, сейчас лето, лучшее время для нас. Давай, займись делом. Не отлынивай. Выложись в больших форматах, о которых ты всегда мечтал, Густав Климт, при условии, конечно, что это будет Бельведер или церковь Святого Карла, ага? Твои картины будут путешествовать по всему миру; да они уже висят в Берлине, Амстердаме, Москве, Риме, Париже, Венеции, Нью-Йорке, Чикаго, Милуоки. С ума сойти, а? Ладно, хорошо здесь, в тенечке, пора и вздремнуть. Нет, ты уже работаешь? И то правильно. Нет, я-то, ты ж понимаешь, я обычный человек, нет у меня миссии, нет у меня страсти, нет... в общем, всего того, что горит в тебе. Я тля, Адольф Гитлер, жалкая тля. Так что мне надо вздремнуть, прежде чем идти собачиться на бульвары... Особенно по такой жаре... Что, господин полицейский? Газон? Птички могут здесь прыгать, собаки могут здесь ссать, а человеку нельзя здесь прилечь? Мы в свободной стране или как? Дерьмо!

* * *

Любовь зрелого существа к существу юному питается либо ненавистью, либо добротой. У Стеллы в результате ложного маневра доброта сменила ненависть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.